



УЧЕБНИК БАКАЛАВРА ТЕОЛОГИИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Русская литература XIX века

Ю. В. Лебедев



ТОМ ПЕРВЫЙ

Учебник бакалавра теологии

Юрий Лебедев

**Русская Литература XIX
века. Курс лекций для
бакалавриата теологии. Том 1**

Торговый Дом "Познание"

2020

УДК 82.0:281.93

ББК 83.3(2)

Лебедев Ю. В.

Русская Литература XIX века. Курс лекций для бакалавриата теологии. Том 1 / Ю. В. Лебедев — Торговый Дом "Познание", 2020 — (Учебник бакалавра теологии)

ISBN 978-5-6044871-9-8

Юрий Владимирович Лебедев, заслуженный деятель науки РФ, литературовед, автор многочисленных научных трудов и учебных изданий, доктор филологических наук, профессор, преподаватель Костромской духовной семинарии, подготовил к изданию курс семинарских лекций «Русская литература», который охватывает период XIX столетия. Автору близка мысль Н. А. Бердяева о том, что «вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира». Ю. В. Лебедев показывает, как творчество русских писателей XIX века, вошедших в классику отечественной литературы, в своих духовных основах питается корнями русского православия. Русская литература остаётся христианской даже тогда, когда в сознании своём писатель отступает от веры или вступает в диалог с нею. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82.0:281.93

ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-6044871-9-8

© Лебедев Ю. В., 2020

© Торговый Дом "Познание", 2020

Содержание

Введение	7
О генетических корнях классической русской литературы XIX века	11
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)	15
Карамзин и европейский сентиментализм	17
Детство и юность Карамзина	19
«Письма русского путешественника»	21
Повесть «Бедная Лиза»	23
Карамзин-журналист	25
Карамзинская реформа русского литературного языка	26
Спор «карамзинистов» с «шишковистами»	28
Карамзин-историк	30
Вопросы и задания	34
Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века	35
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)	48
Романтический мир Жуковского	50
Детство Жуковского	53
Годы учения	54
Элегии Жуковского-романтика	56
«Теон и Эсхин» (1814)	62
Любовь в жизни и поэзии Жуковского	63
Жуковский гражданин и патриот	65
Балладное творчество Жуковского	68
Воспитатель наследника	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Юрий Владимирович Лебедев
Русская литература XIX века: Курс
лекций для бакалавриата теологии. Том 1

© Ю. В. Лебедев, 2020

© Костромская духовная семинария, 2020

© Издательский дом «Познание», 2020

Введение



«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!» – с такими словами обращался Н. В. Гоголь в поэме «Мёртвые души» к русскому юношеству. Писатель знал о счастливой особенности этого возраста, наделённого от природы даром такой щедрой восприимчивости и чуткости к Красоте, Добру и Правде, которая становится уже недоступной повзрослевшему человеку. Наша жизненная судьба во многом, если не во всём, зависит от тех добрых семян, которые мы посеём в свою душу в молодые годы.

Русскую классическую литературу XIX века один из героев немецкого писателя Томаса Манна назвал святой. Ни одна литература мира не дала человеку такого возвышающего и одухотворяющего идеала, какой утверждает литература русская. На это часто обращали внимание именно западноевропейские писатели. Классик австрийской литературы начала XX века Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую книгу из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чём они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет милостивый коттедж на лоне природы с весёлой толпой детей, у Бальзака – замок с титулом пэра и миллионными. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах – чего хотят там люди? – быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? – Никто. Ни один». Не внешний жизненный успех, не богатство, не мнение в глазах окружающих, не звания, не чины, а внутренний мир человека независимо от его положения в обществе, жгучая христианская совесть оказались в центре внимания нашей классической литературы.

Но высота идеалов, ею утверждаемых, предъявляет суровые и строгие требования к читателю. Чтение классики не развлечение, не отдых, а напряжённый духовный труд, требующий постоянной внутренней работы над собой. Если тебе не нравится, например, Некрасов, значит, ты ещё духовно не дорос до него. Классика никогда не льстит нашему самолюбию, не потакает порокам и слабостям человеческим. Она зовёт человека вперёд, она его тревожит, раздражает, делая явными его тайные грехи и несовершенства. Любовь к великой литературе даром никому не даётся: её нужно заслужить через трудный путь приобщения к тем ценностям и святыням, которые в ней заключены и которые она утверждает.

Ценности эти никак не зависят от наших мнений о них и от нашего к ним отношения. Они абсолютны, как земля, небо и солнце. Русский критик Н. Н. Страхов писал: «В таких великих произведениях, как “Война и мир”, всего яснее открывается истинная сущность и важность искусства. Поэтому “Война и мир” есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жестокий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не “Войну и мир” будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о “Войне и мире”».

Русский писатель не потакает нашим слабостям, не щадит нашей грешной природы. Он заставляет читателя разобраться в себе самом, отделить в своей душе семена от плевел, добро от зла, высокое от низкого. Поэтому подходить к классике с бытовой читательской меркой «нравится – не нравится» нельзя. Настоящая любовь к литературе идёт дальше поиска эгоистических наслаждений. «У человека духовно неразвитого и беспомощного, – говорил русский мыслитель Иван Ильин, – “любовь” начинается там, где ему что-то нравится или где ему от чего-то “приятно”; она протекает в плоскости бездуховного “да” и стремится к максимальному внутреннему и внешнему наслаждению»¹. Такого человека поэзия Некрасова, например, не может не раздражать своим призывом к жертвенности, изображением горя, несчастий, страданий. И проблема тут не в том, что у него не развит эстетический вкус. Она глубже, чем эстетические эмоции, она связана с ценностными установками, которые эстетическую восприимчивость направляют и определяют. Речь идёт о духовной любви, которая имеет мужество отвернуться от нравящегося и приятного, которая ищет не удовольствия и наслаждения, а духовного совершенства:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.

Есть русская пословица «Не по милу хорош, а по хорошу мил». Она приложима к оценке литературной классики, утверждающей ценности, не зависящие от наших вкусов, желаний и капризов. Она добивается, чтобы читатель признал её «по хорошу милой, а не по милу хорошей». Она говорит о человеке суровую, неприкрашенную правду. Чтобы принять её, нужно уметь самоотвергаться, нужно учиться чистить свою душу от сорняков, нужно основательно потрудиться. Но этот труд не пропадёт, он окупится сторицей.

Для русских писателей XIX века характерно в высшей степени ответственное отношение к слову. В. Ф. Одоевский, например, утверждал, что «ни одно слово, произнесённое человеком, не забывается, не пропадает в мире, но производит непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым движением души человека».

М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Когда утрачивается вера в животворящие свойства слова, то можно с уверенностью сказать, что и значение этого слова умалено до металла звенящего». Лживое обращение человека со словом он приравнивал к самому злостному богохульству. Главному герою своего романа «Господа Головлёвы» он дал прозвище Иудушка, вызывающее прямые ассоциации с Иудой Искариотом, предавшим Иисуса Христа за тридцать сребреников. Иудушка получает такую кличку за предательское отношение к слову.

Русская литература первой половины XIX века вступает в фазу творческой зрелости. Завершается процесс становления литературного языка, определяется её неповторимый национальный облик в ряду других литератур родственной ей христианской Европы. Русская литература этого периода решает задачи, которые в более зрелых литературах Запада были

¹ Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. – Т. 5. М., 1996. – С. 146.

решены ранее, в эпоху Возрождения или в XVII – конце XVIII века. И потому наша литература щедро заимствует художественный опыт европейских литератур от возрожденческого реализма Шекспира, французского классицизма Расина и Мольера, литературы европейского Просвещения XVIII века до сентиментализма и романтизма современной ей литературы. Но все эти заимствования, в конечном счёте, прививаются у нас на русскую национальную основу.

В нашей литературе, начиная с Пушкина, «последний объём всякого художественного образа – страна и народ, а здесь заключены источники силы и свободы, здесь пути и выходы, неведомые одинокому оторванному явлению, – замечал Н. Я. Берковский. – Русский способ изображать всякое жизненное явление “на миру”, в общенародном кругу, “соборно”, есть и способ наиболее поэтический. Показать жизнь в её сообщённости с самыми могучими силами – это возбудить поэтическое сознание».

К нашей литературе неприменима схема традиционного развития зрелых европейских литератур: от возрожденческого реализма – к классицизму – сентиментализму – романтизму. На материале русской литературы эта схема нуждается в поправках и уточнениях. В творчестве зрелого Лермонтова, например, романтические произведения (поэмы «Мцыри» и «Демон») соседствуют с реалистическими («Герой нашего времени»). Дело в том, что романтизм и реализм у него сохраняют яркую национальную специфику.

Русский реалист использует опыт романтического освоения мира во всём его объёме, но одновременно расширяет этот объём, раскрывает трагизм существования замкнутой в самой себе романтической личности. А с другой стороны, русский реализм не ограничивает представление о реальности жизни только чувственным опытом, обращаясь к правде духовного зрения, духовного видения мира.

Вот один характерный пример. В 1810–1820-х годах в русской литературе идёт горячий спор о классицизме и романтизме. Аналогичные споры шли тогда и на Западе. Но в России этот спор приобретал совершенно иной смысл и иную направленность. Пушкин противопоставлял романтизму «ложному», к которому он относил и своё творчество южного периода, – «истинный романтизм», понимая его буквально как воскрешение Ренессанса. В набросках 1825 года «О поэзии классической и романтической» Пушкин называл представителями «чистой романтической поэзии» Данте, Шекспира, Рабле, то есть писателей западноевропейского Возрождения. Одновременно он отнимал право называться романтиками не только у русских, но и у многих современных писателей европейского романтизма.

Считая отцом истинного романтизма Шекспира, писателя позднего английского Возрождения, Пушкин предъявляет к романтизму совершенно далёкие от эстетических вкусов европейских романтиков требования: многосторонность в отражении жизни, «вольное и широкое изображение характеров» (здесь Пушкин противопоставляет односторонность Байрона многосторонности Шекспира), «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах», «смешение родов», комического и трагического, изысканность необходимых иногда «простонародных выражений».

Всех этих качеств лишён современный западноевропейский романтизм, и все они находятся Пушкиным у Шекспира. Таким образом, в представлениях русских писателей 1820-х годов «романтизм» был не чем иным, как искусством ренессансной природы. «Пушкинское определение “романтизма” Шекспира есть, в сущности, не что иное, как определение реализма ренессансного типа», – утверждал В. В. Кожин².

Возрожденческий реализм Пушкина явился тем зерном, из которого вырастает литературный процесс XIX века. Это обстоятельство и обусловит, в конечном счёте, то влияние, которое русская классическая литература окажет на развитие литературы мировой, и то высокое место, которое она займёт в ряду других литератур Западной Европы и всего мира. Ана-

² См.: Кожин Вадим. Размышления о русской литературе. М., 1991.

логи русскому реализму в западноевропейской литературе можно найти не только и не столько у Бальзака и Золя, современников Пушкина и Гоголя, сколько у Шекспира и Сервантеса, Данте и Рабле – великих реалистов эпохи Возрождения. Русскому реализму XIX века свойственна та же самая *широта изображения жизни* в общенациональном ракурсе, та же самая «шекспировская» *полнота* постижения человеческих *характеров*, и, наконец, тот же самый *антропоцентризм*, основанный на ощущении безграничных возможностей человека.

Но в зерне русского представления о человеке лежит православно-христианская антропология (учение о человеке), существенно отличающаяся от антропологии литератур Западной Европы. Русский реализм свободен от соблазна обожествления человека, свойственного западноевропейскому Возрождению, от искушения – «и будем, как боги». Начиная с Пушкина, наша литература утверждает гуманизм, основанный на сознании, что образ человека держится силою более высокой, чем он сам.

«Судите наш народ не потому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать, – говорит Достоевский. – А идеалы его сильны и святы, и они-то спасали его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили её навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и всё это в самом привлекательном гармоничном соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от неё больше всего сам, и верит, что всё это – лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет».

Любовь к народу – не потакание его слабостям, а утверждение христианских ценностей, живущих в нём. Любовь к родине – не слепое поклонение власти предержавшим, а утверждение высокого идеала «святой Руси», страны праведников – усопших и ныне живущих. История Отечества – не только продукт свободных человеческих усилий, но и процесс, в котором действует невидимая Воля – Божественный Промысел, Провидение, – направляющая ход событий в нужное русло тогда, когда человеческая воля нарушает *предвечный* божеский Закон.

Однако уже в литературе пушкинского периода с христианской духовностью вступает в нарастающий спор другая сила, получившая во второй половине XIX века название «нигилизм». Русский писатель, не исключая и Пушкина, не мог не чувствовать в себе угрожающих голосов этой тёмной стихии отрицания и сомнения. Она заявит о себе в трагических раздумьях Баратынского о ничтожестве человека, в «Демоне» Пушкина, а затем усилится в творчестве Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского. В этой силе проявляется порою праведный гнев на несовершенство окружающего мира. Но в глубинной основе своей эта сила оказывается лишённой главного – творчески-созидательного начала.

Вопросы и задания

1. Почему русскую классическую литературу XIX века называли святой?
2. Почему чтение классики не развлечение, а напряжённый духовный труд?
3. С чем связано ответственное отношение русских писателей к слову?
4. Сформулируйте основные черты национального своеобразия русской литературы в сравнении с литературой Западной Европы.

О генетических корнях классической русской литературы XIX века





«Наша литература – наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией, – говорил А. М. Горький. – В ней – вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы великой красоты и силы, сердца святой чистоты...».

Русская письменность в течение семи столетий была религиозной. Литература «светская», или «новая», появилась у нас гораздо позднее, чем в Западной Европе. Семь веков на Руси утверждала себя словесность. Именно *словесность*, потому что в *литературе* ценится искусство, изобретательность, умелое владение автора художественными приёмами, игра воображения. Русская словесность такой литературности осознанно чуждалась.

Произведения *литературы* с вымышленными сюжетами и персонажами существовали тогда в средневековой Европе (например, рыцарские романы) и в Византии (например, романы любовные). Но в *русской словесности* таких произведений не было. Вплоть до XVII столетия древнерусская письменность не знала ни вымышленных героев, ни любовных романов, ни утончённой лирики, подобной западноевропейским миннезингерам и трубадурам.

Древнерусская книжность была иной. Эстетическая функция в ней не стала самостоятельной. Она подчинялась целям воспитательным, просветительским. Почему же «игры» воображения древнерусский книжник считал кощунством?

Душой древнерусской словесности был церковнославянский язык. В середине IX века солунские братья Кирилл (Константин) и Мефодий изобрели славянскую азбуку. Они создали её специально для перевода с греческого языка боговдохновенных текстов. Обретение письменности явилось для нас событием священным.

В широко известном на Руси болгарском «Сказании о письменах» Черноризца Храбра говорилось: «Вот если спросить книжечеев греческих так: кто вам письмена сотворил или книги перевёл, или в какое время, – то редкие из них знают. Если же спросить славянских грамотеев так: кто вам письмена сотворил или книги перевёл, то все знают и, отвечая, говорят: святой Константин Философ, нареченный Кириллом, – он нам письмена сотворил и книги перевёл, и Мефодий, брат его».

Древнерусские люди считали церковнославянский язык носителем божественных истин. Книжность, письменность и даже сама азбука были для них священны. Русские люди высоко оценивали свой письменный язык в сравнении, например, с католической латынью. Ведь латынь в Западной Европе была не только богослужебным языком, но ещё и языком рим-

ской языческой литературы. На латинском языке в Средневековье создавались как церковные памятники, так и светские сочинения. То же самое совершалось на греческом языке. Церковнославянский язык был иным. Письменность православных славян на протяжении столетий имела строго религиозный характер.

К созданию произведения древнерусский книжник относился иначе, чем литератор. Он не считал себя творцом. Он стремился быть «инструментом» в руках Бога и писать не по своему произволению, а по Божьей благодати. Нестор-летописец прямо говорил о себе, что он «груб и неразумен». Епифаний Премудрый, создавая «Житие преподобного Сергия», умолял Бога, чтобы Он вразумил его, «неучёного и неразумного». Творчество воспринималось в Древней Руси не как «самовыражение», а как Божественный акт.

«Истинный Творец, – размышлял древнерусский книжник, – не я, а Бог, создавший небо и землю, подаривший мне Слово. Это Слово священо. Самоуправное обращение с ним – это кощунство, это преступление против Создателя». Древнерусский писатель относился к своему делу очень ответственно. Он долго очищал душу постом и молитвой, прежде чем взять в руки перо. Только внутренне чистый человек мог быть достойным проводником Божественной благодати. Поэтому многие известные нам древнерусские писатели за свою праведную жизнь удостоены святости.

Древнерусскому человеку было чуждо представление о литературной собственности. Тексты большинства произведений русской средневековой письменности анонимны, как тексты фольклора. Древнерусский писатель не стремился запечатлеть в письменах свою индивидуальность. Он не слишком заботился об оригинальности, о непохожести на других. Напротив, он охотно использовал достижения предшественников, следовал их примеру, старался точно исполнять правила, которые сложились в литературе до него.

В XVII веке наступают перемены. Наша литература принимает светский характер. Если раньше писательский труд был привилегией духовенства, то теперь литературой стали заниматься миряне. Возникло новое представление о творческом труде как личном деле писателя. Начали оформляться понятия литературной собственности, авторского права.

Казалось бы, создание светской литературы должно было лишить писательский труд в России религиозного ореола. Однако этого не произошло. Н. А. Бердяев замечал: «... В русской литературе, у великих писателей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе мира... Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую литературу христианской, даже тогда, когда в сознании своем русские писатели отступали от христианской веры».

Русские читатели резкой гранью отделили литературное творчество от остальных искусств. Поэт по-прежнему выступал для них в роли носителя высшей истины. А его поэтическое слово по-прежнему получало ценность Слова, дарованного свыше, осенённого Божественным авторитетом. Русские люди были глубоко убеждены, что право говорить от лица Истины даётся тяжёлым трудом. Оно завоёвывается самопожертвованием, аскетическим подвигом. Рылеев в думе «Державин» писал:

О так! нет выше ничего
Предназначения Поэта;
Святая правда – долг его;
Предмет – полезным быть для света,
Служитель избранный Творца,
Не должен быть ничем он связан;
Святой, высокий сан Певца
Он делом оправдать обязан.

Творчество поэтов по-прежнему оценивалось на Руси необычайно высоко. Поэзия воспринималась как «язык богов». Сохранялось требовательное отношение к личности поэта. На Западе, например, никому не приходило в голову ставить под сомнение ценность педагогических сочинений Руссо, хотя все знали, что их автор отдавал своих детей в воспитательные дома. В России такое было невозможно. Оставался неизменным принцип: «живи, как пишешь, и пиши, как живёшь».

Авторитет новой русской литературы в XVIII–XIX веках не только не уменьшился, но даже возрос. Начиная с петровских реформ, на личность писателя выпала особая духовная нагрузка. Это было связано с тем, что реформы расшатали устои Православной Церкви. Пётр упразднил Патриарха, учредил Синод и назначил себя главою Церкви.

Но тут же возникла неразрешимая проблема, связанная с тем, что русский народ не признал царя святым, а заодно усомнился и в авторитете Церкви. Митрополит Вениамин (Федченков) в книге «На рубеже двух эпох» замечал: «...Влияние Церкви на народные массы всё слабело и слабело, авторитет духовенства падал. Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва – холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих...»³.

Академик А. М. Панченко замечал, что в русских святцах вплоть до начала XXI века не было ни одного царя – при множестве святых князей. «Вряд ли это случайность: святости удостоивается тот, кого любят, царей же у нас не любили, а боялись. Кого же выбрать?» Где же искать источник святости, без которой русский человек не мыслил своего существования?

И вот в качестве духовных авторитетов русские люди выбрали своих писателей. «Поэт (независимо от того, пишет он стихами или прозой) – вечная русская проблема. Нигде так не мучают поэтов при жизни и так не чтят после смерти, как в России. Мы прибегаем к ним с сегодняшними заботами, уповая на помощь Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого – людей, которые давно скончались и у которых была другая жизнь и другой опыт. Ясно, что мы числим их не по разряду истории, но по разряду вечности... На рациональном Западе – и католическом, и протестантском – сейчас дела обстоят иначе. При всём уважении к Руссо, Шекспиру, Гёте французы, англичане, немцы не станут отягощать их насущными своими вопросами»⁴.

Вопросы и задания

1. В чём заключается национальное своеобразие русской словесности?
2. Какой отпечаток древнерусская словесность придала всей русской классической литературе? Почему в русской литературе у великих писателей религиозные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо иной литературе мира?

³ См.: *Вениамин (Федченков) митр.* О вере, неверии и сомнении. М., 1992.

⁴ См.: *Панченко Александр.* Русский поэт, или мирская святость как религиозно-культурная проблема // *Панченко Александр.* О русской истории и культуре. СПб., 2000.

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)





Карамзин и европейский сентиментализм

В статье «Что нужно автору?» (1793) Карамзин писал: «Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, пронизательный разум, живое воображение и прочее. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей». Дурной человек не может быть хорошим автором, и, прежде чем браться за перо, надо «спросить у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: *каков я?* ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего».

В этих словах проявилось неприятие идеологии и эстетики классицизма, где царил культ гражданских добродетелей. Всё в человеке подчинялось законам разума, а индивидуальное, личное, частное отменялось. Дух поэзии классицизма, рациональной, строго регламентированной, отвечал историческим задачам России в эпоху петровских преобразований, когда единой державной воле подчинялись все личные интересы, когда общественный долг требовал от лучших людей отказа от своего «я» для блага Отечества.

Но во второй половине XVIII века, в пугачёвскую пору и после неё, возникло неведомое петровскому периоду ощущение внутреннего беспокойства. Пошатнулись твёрдые устои российской государственности. Какая-то непознанная, ускользающая от законов разума глубина раскрылась вдруг и в отношениях между людьми, и в душе каждого человека. Ещё совсем недавно признанный в нашей литературе классицист А. П. Сумароков утверждал: «Ум всегда чуждается мечты!» И вот теперь М. М. Херасков в поэме «Пилигримы, или Искатели счастья» (1795) заявил обратное: «Но где же нет мечты? Вся наша жизнь мечта!»

Культурная часть русского общества оказалась восприимчивой к новому литературному направлению, возникшему на Западе и получившему название «*сентиментализм*». Напомним ещё раз, что сторонники этого направления называли свою поэзию чувствительной, или сентиментальной (от слова *sentiment* – чувство). Родиной сентиментализма стала Англия. Писатели-сентименталисты проявляли интерес к изображению обыкновенных людей и обыкновенных человеческих чувств. Литература, питавшая вкусы английской аристократии, казалась им сухой, манерной и безжизненной. Разуму они предпочитали чувство, отвлечённым гражданским доблестям – глубину простого человеческого сердца. Рационализму классиков они противопоставили христианский идеализм, в основе которого была не абстрактная любовь к человечеству, а любовь-сострадание к каждому конкретному человеку со всеми его грехами и добродетелями.

Сентименталисты изменили всю иерархию литературных жанров классицизма. Ода, воспевающая доблестных героев, уступила место элегии – интимной лирике сердца. «Трагедия» и «комедия» обернулись «драмой», соединяющей в себе слёзы и смех. Классическую эпопею вытеснил психологический роман, где вместо великих мировых событий изображались семейные печали и радости, а вместо королей, графов и благородных придворных дам – люди среднего сословия.

Популярным в России английским писателем-сентименталистом был Сэмюэл Ричардсон. Глубоко проникая в тонкие человеческие чувства и отношения, Ричардсон стремился дать читателям образцы христианской добродетели. О его романах А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» писал:

И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

Героиня первого его романа «Памела» (1740, русский перевод – 1787) – служанка, кроткая и религиозная девушка, страдающая от оскорбительных преследований светского щёголя. Но своим смирением и христианским незлобием она покоряет и преображает его. Несмотря на разницу в сословном положении, он женится на ней и находит в Памеле идеал супруги и матери семейства.

Второй роман Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748, русский перевод – 1791–1792) состоял из 8 томов – по 500 страниц в каждом. Это был, по словам Пушкина, «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный». Главная героиня его, юная Кларисса, нелюбимая в семье, одинокая девушка, подвергается настойчивым ухаживаниям обольстителя женских сердец Ловласа. Кларисса его любит и надеется перевоспитать, вернуть на стезю добродетели. Роман заканчивается трагически: Кларисса погибает. Но и порок наказан: друг Клариссы убивает Ловласа на дуэли.

В следующем романе «История сэра Чарльза Грандисона» (1754) представлен идеал мужчины, который умнее, красивее и храбрее всех. Но характер Грандисона получился ходульным и неестественным, что вызвало пушкинскую иронию в «Евгении Онегине»:

И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон.

В 1768 году в Англии вышло в свет названное нами выше «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна. На первом плане в нём оказались не картины жизни, которые открываются путешественнику, а личность автора, глубоко заинтересованного самим собой, своим внутренним миром. Путешественник столь впечатлителен, что каждая мелочь вызывает в нём душевное волнение, является источником противоречивого потока переживаний. Именно к переживаниям Стерн питает исключительный литературный интерес, путешествуя в глубины своей души.

Возникнув в Англии, сентиментализм вскоре восторжествовал во всех странах Западной Европы. Во Франции он принял политическую окраску: нравоучительная тенденция сменилась общественной проповедью. Руссо в романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) утверждал, что цивилизация принесла человеку вред, исказила врождённую доброту его природы. Он ратовал за возвращение к природе и настаивал на изначальном равенстве всех людей.

Герой его романа, бедный учитель Сен-Пре, любит Юлию, дочь знатных и богатых родителей. Счастью влюблённых мешают родовые предрассудки. Юлия, следуя голосу природы и отбрасывая светские условности, отдаётся своему возлюбленному. Но родители заставляют её выйти замуж за графа де-Вольмара. Разочарованный Сен-Пре отправляется в путешествие. По возвращении он находит Юлию добродетельной женщиной: она свято исполняет долг жены и матери и отказывается ответить взаимностью на чувства Сен-Пре.

Названные романы – предмет увлечения «русской душой» Татьяны Лариной, любимой героини Пушкина в романе «Евгений Онегин». Писатели-сентименталисты подкупали её напряжённым вниманием к глубинам человеческого сердца, к христианским добродетелям. Эти добродетели были близки русской православной душе, они свято хранились в народной жизни. Но «птенцы гнезда Петрова» забыли о них почти на целое столетие. Как это ни парадоксально, но именно с помощью английского, французского, немецкого сентиментализма начался процесс возвращения культурного слоя русского общества к своим национальным корням и духовным истокам.

Наиболее ярким писателем-сентименталистом на русской почве стал, разумеется, не Радищев, а Н. М. Карамзин, творчество которого обрело такую популярность, что целый этап в истории русской литературы – от начала XIX века вплоть до Пушкина – получил в дореволюционных учебниках название «*карамзинского периода*».

Детство и юность Карамзина

Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12) декабря 1766 года в селе Михайловка Бузулукского уезда Симбирской губернии в культурной, родовитой, но небогатой дворянской семье, в усадьбе отца – отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина. Свой тихий нрав и склонность к мечтательности он унаследовал от матери, Екатерины Петровны (урожденной Пазухиной), которой лишился в возрасте трёх лет. Раннее сиротство, одиночество в доме отца укрепили в душе мальчика эти качества: он полюбил деревенское уединение, красоту поволжской природы, рано пристрастился к чтению книг.

Когда Карамзину исполнилось 13 лет, отец увёз его в Москву и определил в пансион профессора Московского университета И. М. Шадена, где мальчик получил светское воспитание, изучил в совершенстве европейские языки и слушал лекции в университете. По окончании пансиона в 1781 году Карамзин покинул Москву и определился в Петербурге в Преображенский полк, к которому был приписан с детства. Дружба с И. И. Дмитриевым, будущим известным поэтом и баснописцем, укрепила в нём интерес к литературе. После смерти отца, в январе 1784 года, Карамзин вышел в отставку в чине поручика и вернулся на родину в Симбирск. Здесь он вёл рассеянный образ жизни, типичный для молодого дворянина.

Решительный поворот в его судьбе произвело случайное знакомство с Иваном Петровичем Тургеневым, деятельным масоном, литератором, сподвижником известного писателя и книгоиздателя конца XVIII века Николая Ивановича Новикова. И. П. Тургенев берет Карамзина в Москву, и в течение четырёх лет начинающий литератор вращается в московских масонских кругах, тесно сближается с Н. И. Новиковым, становится членом «Дружеского учёного общества».

Московские масоны-розенкрейцеры (рыцари злато-розового креста) решительно не принимали вольтерьянство и всё наследие французских энциклопедистов-просветителей. Они считали человеческий разум низшей ступенью познания и ставили его в прямую зависимость от чувства и Божественного Откровения. Разум вне контроля чувства и веры не в состоянии правильно понимать окружающий мир. Это «тёмный», «бесовский» разум, являющийся источником человеческих заблуждений и бед.

Особой популярностью в «Дружеском учёном обществе» пользовалась книга французского мистика Сен-Мартена «О заблуждениях и истине»: не случайно розенкрейцеров их недоброжелатели называли «мартинистами». Сен-Мартен подвергал решительной критике просветительскую идею общественного договора, основанную на атеистической «вере» в «добрую природу» человека. Эта идея есть ложь, попирающая христианскую истину о «первородном грехе». Наивно считать государственную власть результатом человеческого «творчества». Она является предметом Божьего попечительства о человеке и посылается Творцом для укрощения и сдерживания греховных помыслов, которым подвержен падший человек на этой земле.

Государственную власть Екатерины II, находившейся под влиянием французских просветителей, мартинисты считали заблуждением, Божеским попусшением за грехи всего петровского периода нашей истории. Они создали свою утопию о прекрасной стране, управляемой масонами по законам их веры, без бюрократии, подъячих, полицейских, вельмож, произвола. В своих книгах они проповедовали эту утопию как программу: в их государстве исчезнет нужда, не будет ни наёмников, ни рабов, ни налогов. Для этого надо, чтобы все стали масонами и очистились от скверны. В будущем масонском «раю» не будет ни церкви, ни законов, а будет свободное общество хороших людей, верующих в Бога, кто как хочет.

Вскоре Карамзин понял, что, отрицая «самовластие» Екатерины II, масоны вынашивали планы своего «самовластия», противопоставляя масонскую ересь основам укоренённой

на русской национальной почве православной религии. При внешнем созвучии с истинами христианской веры в процессе их хитроумных рассуждений осуществлялась подмена правды соблазнительной ложью и «прелестью». Настораживала Карамзина и чрезмерная мистическая экзальтация его «братьев», столь далёкая от завещанного православием «духовного трезвения». Смутил покров таинственности, связанный с деятельностью масонских лож.

И вот Карамзин, разочаровавшись в масонстве, бежит из Москвы, отправляясь в путешествие по Западной Европе. Его опасения вскоре подтверждаются. Делами в масонской организации, как выяснило следствие, заправляли какие-то тёмные люди, выехавшие из Пруссии и действовавшие в её пользу, скрывая свои цели от искренне заблуждавшихся прекраснодушных русских «братьев». Путешествие Карамзина по Западной Европе, длившееся полтора года, обозначило окончательный разрыв писателя с масонскими увлечениями юности.

«Письма русского путешественника»

Осенью 1790 года Карамзин вернулся в Россию и с 1791 года стал издавать «Московский журнал», выходявший в течение двух лет и имевший большой успех у русской читающей публики. В нём он напечатал два главных своих произведения – «Письма русского путешественника» и повесть «Бедная Лиза».

В «Письмах русского путешественника» (1791–1792), подводящих итог заграничным странствованиям, Карамзин, следуя традиции «Сентиментального путешествия» Стерна, изнутри перестраивает её на русский лад. Стерн почти не уделяет внимания внешнему миру, сосредоточиваясь на дотошном анализе собственных переживаний и чувств. Карамзин, напротив, не замкнут в пределах своего «я», не слишком озабочен субъективным содержанием своих эмоций. Ведущую роль в его повествовании играет внешний мир, автор искренне заинтересован в истинном его понимании и объективной его оценке. В каждой стране он подмечает самое интересное и важное: в Германии – умственную жизнь (он знакомится с Кантом в Кёнигсберге и встречается с Гердером и Виландом в Веймаре), в Швейцарии – природу, в Англии – политические и общественные учреждения, парламент, суд присяжных, семейную жизнь добропорядочных пуритан. В отзывчивости писателя на окружающие явления бытия, в стремлении проникнуться духом разных стран и народов предвосхищается и переводческий дар В. А. Жуковского, и «протеизм» А. С. Пушкина с его «всемирной отзывчивостью».

Следует особо выделить раздел «Писем...», касающийся Франции. Карамзин посетил эту страну в момент, когда в 1789 году раздались первые грозовые раскаты Великой французской революции. Он ещё видел воочию короля и королеву, дни которых были уже сочтены, он присутствовал на заседаниях Национального собрания. Выводы, которые сделал Карамзин, анализируя революционные потрясения, уже предвосхищали проблематику всей русской литературы XIX века.

«Всякое гражданское общество, веками утверждённое, – говорит Карамзин, – есть святня для добрых граждан, и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. “Утопия” будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губительны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению: оно, конечно, имеет свой план; в его руках сердца государей – и довольно».

Лёгкие умы думают, что всё легко; мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. <...> Новые республиканцы с порочными сердцами! Разверните Плутарха, и вы услышите от древнего, величайшего, добродетельного республиканца Катона, что безначалие хуже всякой власти!».

В «Письмах русского путешественника» зреет мысль, положенная в основу составленной Карамзиным впоследствии «Записки о Древней и Новой России», которую он вручил Александру I в 1811 году, накануне наполеоновского нашествия. В ней писатель внушал государю, что главное дело правления не в изменении внешних форм и учреждений, а в людях, в уровне их нравственного самосознания. Благотельный монарх и умело подобранные им губернаторы с успехом заменят любую писаную конституцию. А потому для блага отечества нужны, прежде всего, хорошие священники и народные школы.

В «Письмах русского путешественника» проявилось типичное отношение мыслящего русского человека к историческому опыту Западной Европы и к урокам, которые он выносил из

него. Запад оставался для нас в XIX веке школой жизни как в лучших, светлых, так и в тёмных её сторонах. Глубоко личное, родственное отношение просвещённого дворянина к культурной и исторической жизни Западной Европы, очевидное в «Письмах...» Карамзина, хорошо выразил потом Ф. М. Достоевский устами Версилова, героя романа «Подросток»: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог».

Повесть «Бедная Лиза»

Огромным успехом у русских читателей начала XIX века пользовалась повесть Карамзина «Бедная Лиза» (1792), оказавшая существенное влияние на становление и развитие новой русской литературы. Сюжет этой повести очень простой: он сводится к печальной истории любви бедной крестьянской девушки Лизы и богатого молодого дворянина Эраста. Главный интерес повествования заключён в душевной жизни Лизы, в истории расцвета и трагического увядания любовного чувства.

Психологически достоверно представлено состояние молодого, целомудренного и наивного девичества с радостным доверием к жизни, слитой с яркими красками солнечного дня, цветущей природы. Потом передаётся тревожный период недоумения перед новым, незнакомым ей чувством после встречи с Эрастом. Он сменяется трогательной картиной чистой первой влюбленности, счастливой и духовно окрылённой. Но когда бедная Лиза отдаётся Эрасту, чистые восторги девушки омрачаются сознанием чего-то незаконного, что вмешалось в её любовь. И на это новое душевное состояние откликается по-своему природа: «Между тем блеснула молния, грянул гром. Лиза вся задрожала: “Эраст, Эраст! – сказала она. – Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня как преступницу!”»

Тревога оказывается ненапрасной: пресыщенный молодой дворянин начинает охладевать в своих чувствах к Лизе. А в её душе страх потерять любимого сменяется надеждой на возможность вернуть утраченное счастье. Тут Эраст надолго покидает Лизу, отправляясь в военный поход, где он проигрывает в карты всё своё состояние, и по возвращении решает поправить дело женитьбой на богатой вдове. Узнав об этом решении, Лиза впадает в отчаяние. Обманутая в лучших надеждах и чувствах, девушка бросается в пруд около Симонова монастыря – места её счастливых свиданий с Эрастом.

В характере Эраста Карамзин предвосхищает распространенный в новой русской литературе тип разочарованного человека. По натуре Эраст добрый, но слабый и ветреный. Общественная жизнь и светские удовольствия ему надоели, он скучает и жалуется на свою судьбу. Под влиянием сентиментальных романов, которых Эраст вдоволь начитался, он мечтает о счастливых временах, когда люди, не обременённые условностями и правилами цивилизации, жили беспечно и дружно на лоне природы. Разочаровавшись в свете, в людях своего круга, Эраст ищет новых впечатлений. Встреча с Лизой удовлетворяет его мечте о природной простоте нравов и обычаев. Но пастушеская идиллия ему вскоре надоедает.

Мотивы повести, связанные с Эрастом, в разных вариациях будут звучать в нашей литературе: в пушкинских «Цыганах», в «Казаках» и поздней драме Льва Николаевича Толстого «Живой труп». Отголоски её ощутимы и в его романе «Воскресение». А судьба Лизы отзовется в «Станционном смотрителе» Пушкина, в «Бедных людях» Достоевского.

По существу, «Бедной Лизой» открывается ключевая в отечественной литературе тема «маленького человека».

Правда, социальный аспект в отношениях Лизы и Эраста приглушён: Карамзин более всего озабочен в повести доказательством того, что «и крестьянки любить умеют». Но именно потому социальный колорит в изображении характера Лизы у Карамзина отсутствует. Это является, пожалуй, самым слабым местом повести, ибо Лиза менее всего похожа на крестьянку, а более – на милую светскую барышню, воспитанную на чувствительных сентиментальных романах. Ныне такой писательский подход к изображению людей из народа кажется наивным и нехудожественным. Но современники Карамзина, ещё не читавшие ни Крылова, ни Пушкина, ни Гоголя, не только не чувствовали этой фальши, но восхищались до слёз художественной правдой повести. Пруд у Симонова монастыря стал местом паломничества почитателей таланта Карамзина и получил название «Лизин пруд». Сюда сходились на свидание

сентиментальные парочки, сюда приходили тосковать и предаваться «меланхолии» люди с чувствительными и разбитыми сердцами. Так, один из светских остряков написал по этому поводу такое объявление:

Здесь в воду бросилась Эрастова невеста, —
Топитесь, девушки, в пруду довольно места!

А монахи прекратили эти паломничества просто: обнесли пруд забором и вывесили надпись, что пруд этот вовсе не называется «Лизиным».

Всё это ныне не может не вызывать улыбки над наивностью и простодушием людей далёкого от нас времени. Но по зрелом размышлении нельзя не согласиться, что «привязанная» к крестьянке и выраженная несколько архаичным, устарелым литературным языком история девической любви от её зарождения до катастрофы передана Карамзиным с психологической достоверностью. В зерне её уже содержится и будущий Тургенев, певец «первой любви» и тонкий знаток девичьего сердца, и Лев Толстой с проникновением в душевный процесс с его формами и законами. Признанный во всём мире утончённый психологизм русской художественной прозы предчувствуется, зарождается в кажущейся ныне наивной и даже неумелой повести Карамзина.

Карамзин-журналист

Начиная с издания «Московского журнала» Карамзин предстал перед русским общественным мнением как первый профессиональный писатель и журналист. До него решались жить на литературные заработки лишь писатели третьего ряда. Культурный дворянин считал занятие литературой забавой, а не серьёзной профессией. Карамзин своим трудом и неизменным успехом у читателей утвердил в глазах общества авторитет писательского дела и превратил литературу в профессию, едва ли не самую почётную и уважаемую. Бытует мнение, что восторженные юноши Петербурга мечтали пешком идти в Москву, чтобы взглянуть на знаменитого Карамзина.

В «Московском журнале» и последующих изданиях Карамзин не только расширял круг читателей хорошей русской книги, но и воспитывал эстетический вкус, готовил культурное общество к восприятию поэзии В. А. Жуковского и А. С. Пушкина. Его журнал, его литературные альманахи уже не ограничивались Москвой и Петербургом, а проникали в русскую провинцию. В 1802 году Карамзин приступил к изданию «Вестника Европы» – журнала не только литературного, но и общественно-политического, давшего прообраз так называемым «толстым» русским журналам, просуществовавшим весь XIX век и дожившим до конца века XX-го.

Карамзинская реформа русского литературного языка

Неоспоримы заслуги Карамзина в формировании русского литературного языка. Пытаясь сблизить его с разговорной речью дворянского общества, Карамзин решительно отказался от теории трёх стилей Ломоносова, от неумеренного использования церковнославянизмов. Здесь писатель столкнулся с большими трудностями: разговорный язык культурного человека конца XVIII – начала XIX века был, как правило, французским, и для перевода его на русский в отечественном языке не существовало слов адекватного значения. Разумеется, в «галломании» дворянского общества проявлялись космополитизм, пренебрежительное отношение к России и русскому народу. Мы познакомимся скоро с монологами Чацкого на эту тему в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», где язык московских дворян будет остроумно назван «смесью французского с нижегородским».

Но в увлечении дворянства французским языком была и другая, может быть, более существенная причина, ничего общего с «галломанией» и низкопоклонством перед Западом не имеющая. После петровских преобразований в России возник разрыв между духовными запросами просвещённого общества и семантическим строем русского языка. Все образованные люди вынуждены были говорить по-французски, ибо в русском языке не существовало слов и понятий для выражения многих мыслей и чувств. Обогащение лексического состава русского языка было тогда задачей общенациональной значимости. Перед Карамзиным прежде всего возникла проблема расширения словарного состава литературного языка, которую он успешно разрешал тремя путями:

1. Обладая незаурядным стилистическим чутьём, Карамзин ввёл в русский язык такие варваризмы (прямые заимствования иностранных слов), которые органически прижились в нём. Это «цивилизация», «эпоха», «момент», «катастрофа», «серьёзный», «эстетический», «моральный», «тротуар»...

2. Многие русские слова и понятия Карамзин создавал из русских корней по образцу иностранных: «in-flu-ence» – «в-ли-яние»; «de-voluppe-ment» – «раз-ви-тие»; «raffine» – «утонченный»; «touchant» – «трогательный» и т. д.

3. Наконец, Карамзин изобрёл слова-неологизмы по аналогии со словами французского языка: «промышленность», «будущность», «потребность», «общепользованный», «усовершенствованный» и др.

Глубоко реформировал Карамзин и сам строй русской литературной речи. Он решительно отказался от тяжёлой и несоответствующей духу русского языка немецко-латинской синтаксической конструкции, введённой Ломоносовым. Вместо длинных и неудобопонятных периодов Карамзин стал писать ясными и краткими фразами, используя как образец лёгкую, изящную и логически стройную французскую прозу.

Однако на этом пути Карамзину не удалось избежать крайностей и просчётов. В. Г. Белинский заметил: «Вероятно, Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолудинов и не изучал вообще родных источников». Действительно, стремление к изяществу выражений приводило язык Карамзина к обилию эстетических перифраз, заменяющих простое и «грубое» слово: не «смерть», а «роковая стрела»: «Счастливые швейцары! Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую тиранскими страстями».

В письме к И. И. Дмитриеву от 22 июня 1793 года Карамзин разъяснял: «Один мужик говорит: *птичужечка* и *парень*: первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зелёное дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на

природу и говорит: *вот гнездо! вот пичужечка!* При втором слове является моим мыслям дебелий мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: *ай, парень! что за квас!* Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей! Итак, любезный мой, нельзя ли вместо *парня* употребить другое слово?»

Таким образом, Карамзин действительно приблизил литературный язык к разговорному, но это была разговорная речь дворянской интеллигенции.

Спор «карамзинистов» с «шишковистами»

Начало XIX века в истории русской литературы было отмечено спорами о языке, очень важными тогда, потому что в этот период завершалось создание русского литературного языка и зрелой отечественной литературы нового времени. Это был спор «архаистов» и «новаторов» – «шишковистов» с «карамзинистами».

В лице адмирала и русского патриота Александра Семёновича Шишкова (1754–1841) Карамзин встретился с сильным и благородным противником. В 1803 году Шишков выступил с «Рассуждением о старом и новом слоге российского языка», в 1804 году добавил «Прибавление» к этому сочинению, а затем опубликовал «Рассуждение о красноречии Священного Писания и о том, в чём состоит богатство, обилие, красота и сила российского языка» (1810) и «Разговоры о словесности между двумя лицами...» (1811).

Шишкову казалось, что реформа языка, осуществлённая Карамзиным, – дело антипатриотическое и даже антирелигиозное. «Язык есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный свидетель дел. Где нет в сердцах веры, там нет в языке благочестия. Где нет любви к отечеству, там язык не изъясняет чувств отечественных», – справедливо заявлял Шишков. А поскольку Карамзин отрицательно отнесся к обилию церковно-славянских слов в русском языке, Шишков в полемике с ним утверждал, что «новшества» Карамзина «искажили» благородную и величественную простоту русского языка.

Шишков считал русский язык наречием языка церковнославянского и полагал, что богатство его выражения заключается главным образом в использовании славянизмов, языка церковных, богослужебных книг. Шишков нападал на тогдашнее русское общество и литературу за неумеренное пользование варваризмами («эпоха», «гармония», «энтузиазм», «катастрофа»), ему претили вошедшие в употребление неологизмы («переворот» – перевод слова «revolution», «сосредоточенность» – «concentrer»), его ухо резали введённые тогда в употребление искусственные слова: «настоящность», «будущность», «начитанность».

Иногда критика его была меткой и точной. Шишкова возмущала, например, уклончивость и эстетическая жеманность в речи Карамзина и «карамзинистов»: почему вместо выражения «когда путешествие сделалось потребностью души моей» не сказать просто: «когда я полюбил путешествовать»? Почему изысканную и напичканную перифразами речь: «пестрые толпы сельских оред сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонид» – не заменить всем понятным выражением: «деревенским девкам навстречу идут цыганки»? Справедливы были порицания таких модных в те годы выражений, как «подпирать своё мнение» или «природа искала нам добронравствовать», а «народ не потерял первого отпечатка своей цены».

В пику Карамзину Шишков предложил свою реформу русского языка: он считал, что недостающие в нашем обиходе понятия и чувства нужно обозначать новыми словами, образованными из корней русского и старославянского языка. Вместо карамзинского «влияния» он предлагал «наитие», вместо «развития» – «прозябение», вместо «актёр» – «лицедей», вместо «индивидуальность» – «яйность». Предлагались «мокроступы» вместо «калош» и «блуждалище» вместо «лабиринта». Но большинство его нововведений не прижилось в русском языке. Дело в том, что Шишков был искренним патриотом, но плохим филологом: моряк по своей специальности, он занимался изучением языка на любительском уровне. Однако пафос его статей вызвал сочувственное отношение у многих литераторов. И когда Шишков вместе с Г. Р. Державиным основали литературное общество «Беседа любителей русского слова» с уставом и своим журналом, к этому обществу примкнули П. А. Катенин, И. А. Крылов, а позднее В. К. Кюхельбекер и А. С. Грибоедов. Один из активных участников «Беседы...» плодовитый драматург А. А. Шаховской в комедии «Новый Стерн» высмеял Карамзина, а в коме-

дии «Липецкие воды» в лице «балладника» Фиалкина вывел карикатурный образ В. А. Жуковского.

Комедии эти встретили дружный отпор со стороны молодёжи, поддерживавшей литературный авторитет Карамзина. Так, Дашков, Вяземский, Блудов сочинили несколько остроумных памфлетов по адресу Шаховского и других членов «Беседы...». Один из памфлетов Блудова «Видение в Арзамасском трактире» дал кружку юных защитников Карамзина и Жуковского название «Общество безвестных арзамасских литераторов», или, попросту, «Арзамас».

В организационной структуре этого общества царил весёлый дух пародии на серьёзную «Беседу...». В противоположность официальной напыщенности здесь господствовала простота, естественность, открытость, большое место отводилось шутке. У членов «Арзамаса» были свои литературные прозвища: Жуковский – «Светлана», Пушкин – «Сверчок» и т. п.

Участники «Арзамаса» разделяли тревогу Карамзина о состоянии русского языка, нашедшую отражение в его статье 1802 года «О любви к отечеству и народной гордости»: «Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре?» В своём литературном творчестве «арзамасцы» стремились привить национальному языку и сознанию европейскую культуру мышления, искали средств выражения на родном языке «тонких» идей и чувствований.

Когда в 1822 году Пушкин прочёл в переводе Жуковского «Шильонского узника» Байрона, он сказал: «Должно быть Байроном, чтобы выразить с столь страшной силой первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить». Здесь Пушкин точно определил суть творческого гения Жуковского, стремившегося не к переводу, а к «перевыражению», превращающему «чужое» в «своё». Во времена Карамзина и Жуковского огромная роль отводилась таким переводам-перевыражениям, с помощью которых обогащался русский литературный язык, становились общенациональным достоянием сложные философские мысли, утончённые психологические состояния.

И «карамзинисты», и «шишковисты», при всех их разногласиях, в конечном счёте стремились к одному – к преодолению двуязычия русского культурного сознания начала XIX века. Их спор вскоре разрешила сама история русской литературы, явившая Пушкина, диалектически «снявшего» в своём творчестве возникшие противоречия.

Карамзин-историк

Примечательно, что сам Карамзин в этих спорах участия не принимал, а к Шишкову относился с уважением, не питая на его критику никакой обиды. В 1803 году он приступил к главному делу своей жизни – созданию «Истории государства Российского». Замысел этого капитального труда возник у Карамзина давно. Еще в 1790 году он писал: «Больно, но должно по справедливости признаться, что у нас до сего времени нет хорошей истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант».

Все эти способности, конечно, были у Карамзина, но, чтобы осилить капитальный труд, связанный с изучением огромного количества исторических документов, требовалась ещё и материальная свобода и независимость. Когда Карамзин стал издавать в 1802 году «Вестник Европы», он мечтал о следующем: «Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принуждённою работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и... сочинять русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою».

И тогда друг Карамзина, товарищ министра просвещения М. Н. Муравьёв, обратился к Александру I с ходатайством о помощи писателю в осуществлении его замысла. В именном указе от 31 декабря 1803 года Карамзин был утверждён в качестве придворного историографа с ежегодным пенсионом в две тысячи рублей. Так начался двадцатидвухлетний период жизни Карамзина, связанный с капитальным трудом создания «Истории государства Российского».

О том, как нужно писать историю, Карамзин говорил: «Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять в своём изложении бедствия; он должен быть, прежде всего, правдив; но может, даже должен, всё неприятное, всё позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом. Только таким образом он сделается национальным бытописателем, чем, прежде всего, должен быть историк».

«Историю государства Российского» Карамзин начал писать в Москве и в подмосковной усадьбе Остафьево. В 1816 году он переехал в Петербург: начались хлопоты по изданию завершённых восьми томов «Истории...». Карамзин стал человеком, близким ко двору, лично общался с Александром I и членами царской семьи. Летние месяцы Карамзины проводили в Царском Селе, где их навещал юный лицеист Пушкин. В 1818 году восемь томов «Истории...» вышли в свет, в 1821 году был опубликован девятый, посвящённый эпохе царствования Ивана Грозного, в 1824 году – десятый и одиннадцатый тома.

«История...» создавалась на основе изучения огромного фактического материала, среди которого ключевое место занимали летописи. Совмещая талант ученого-историка с талантом художественным, Карамзин искусно передавал сам дух летописных источников путём обильного их цитирования или умелого пересказа. Историком было дорого в летописях не только обилие фактов, но и само отношение летописца к ним. Постигание точки зрения летописца – главная задача Карамзина-художника, позволявшая ему передавать «дух времени», народное мнение о тех или иных событиях. А Карамзин-историк при этом выступал с комментариями. Вот почему его «История...» сопрягала в себе описание возникновения и развития российской государственности с процессом роста и становления русского национального самосознания.

По своим убеждениям Карамзин был монархистом. Огромное влияние оказали на него события Французской революции, определившие, по его мнению, «судьбу людей на протяжении многих веков». Карамзин был хорошо знаком с политическим учением французских про-

светителей, в «Персидских письмах» и «Духе законов» Монтескьё. Французский мыслитель различал три типа государственного правления: республику, монархию и деспотию. Последний тип он считал «неправильным», требующим уничтожения. Идеальной формой государственного устройства Монтескьё провозглашал республику, жизненными принципами которой являются усвоенные просвещёнными гражданами республиканские добродетели: любовь к отечеству, любовь к равенству, привязанность к законам. В «Персидских письмах» Монтескьё утверждал: «Монархия есть полное насилия состояние, всегда извращающееся в деспотизм... Святилище чести, доброго имени и добродетели, по-видимому, нужно искать в республиках и в странах, где дозволено произносить имя отечества».

Эта идеализация республиканских нравов французскими просветителями сыграла роковую роль в судьбе французской монархии. А якобинская диктатура, пришедшая ей на смену, явилась страшной и горькой пародией на их идеальные республиканские представления. Карамзин, хотя и называл себя «республиканцем в душе», был убеждён, что этот общественный строй является красивой, доброй, но неисполнимой на практике утопией, ибо он требует от помрачённого грехом человека таких доблестей, какие ему не под силу. Принцип современного общества, замечал Карамзин, несказанно далёк от прекраснотушных идей просветителей о свободе, братстве и равенстве: «Сперва деньги – а после добродетель!» Поэтому Карамзин считал, что самодержавная форма правления исторически оправданна и наиболее органична для такой огромной страны, как Россия.

Но в то же время он вслед за Монтескьё замечал и постоянную опасность, подстерегавшую самодержавие в ходе истории, – опасность перерождения его в *самовластие*. Это происходит всякий раз, когда государь нарушает принцип разделения властей, «симфонические» отношения между властью светской и духовной. Когда светская власть уклоняется от контроля власти духовной, она становится тиранической, самовластной. Такими предстали в последних изданных при жизни Карамзина девятом, десятом и одиннадцатом томах «Истории...» Иоанн Грозный и Борис Годунов. Изображение венчанного злодея Иоанна и преступного царя Бориса потрясло воображение современников и оказало прямое влияние на становление декабристской идеологии.

Карамзин действовал при этом совершенно сознательно. Он говорил, что «настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы узнать о первом, надо вспомнить последнее». Вот почему Пушкин назвал «Историю...» «не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека». Когда в 1821 году вышел в свет девятый том, К. Ф. Рылеев не знал, «чему более удивляться, тиранству Иоанна, или дарованию нашего Тацита». Тома о Борисе Годунове и Смутном времени вышли за четыре месяца до восстания декабристов и вызвали отклик Пушкина: «Это злободневно, как свежая газета».

Опровергая распространённый взгляд на крестьянские мятежи и бунты как на проявление народной дикости и невежества, Карамзин показал, что они порождались уклонениями монархической власти от принципов самодержавия в сторону самовластия и тирании. Через народное возмущение Небесный Суд вершил кару за содеянные тиранами преступления. Именно в народной жизни проявляет себя, по Карамзину, Божественная воля в истории, именно народ чаще всего оказывается мощным орудием Провидения.

Как истинный патриот своего Отечества, Карамзин не раз высказывал Александру I нелицеприятные истины. В 1811 году он сделал это в «Записке о Древней и Новой России». Историк нарисовал в ней безрадостную картину внешнего и внутреннего положения России, показал беспомощные попытки правительства решить важные экономические проблемы. Он резко осудил Александра I за его реформаторские начинания, «коих благотворность остаётся делом сомнительным», ибо правление государя не принесло России обещанного блага, но укрепило страшное зло в лице паразитической бюрократии, чиновников-казнокрадов.

Он высказал правду о самом царе как неопытном во внешней и внутренней политике властителе, занятом не благом России, а желанием пускать пыль в глаза, увлечённом бездумным заимствованием тех или иных учреждений Западной Европы, без учёта русского исторического опыта. Карамзин указал Александру и на ошибки в правлении его предшественника, Петра I. Главная пагуба его царствования – пренебрежение к опыту истории, неуважение к обычаям народа. «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им (русским людям) уставы есть насилие, незаконное для монарха самодержавного». «Самовластие» Петра I и Александра I как раз и не принимает Карамзин. Результаты самовластия всегда оказываются печальными для Отечества: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Пётр».

Когда Пушкин уже в конце 1830-х годов познакомился с этой «Запиской...» в рукописи, он сказал: «Карамзин написал свои мысли о Древней и Новой России со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостию убеждения сильного и глубокого... Когда-нибудь потомство оценит... благородство патриота».

Но «Записка...» вызвала раздражение и неудовольствие тщеславного Александра. В течение пяти лет он холодным отношением к Карамзину подчёркивал свою обиду. В 1816 году произошло сближение, но ненадолго. В 1819 году государь, вернувшись из Варшавы, где он открывал Польский сейм, в одной из искренних бесед с Карамзиным сообщил, что хочет восстановить Польшу в её древних границах. Это странное желание так потрясло Карамзина, что он незамедлительно составил и лично прочёл государю новую «Записку...»:

«Вы думаете восстановить древнее королевство Польское, но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? Согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашей любовью к России и к самой справедливости? Можете ли с мирной совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Вольнию, Подолию, утверждённую собственность России ещё до Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целостность своих держав? Сии земли были уже Россией, когда митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра, Екатерины, которую Вы назвали Великой...»

Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю, остыли бы душой к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола, ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом унизились бы перед другими и перед собой. Не опустел бы, конечно, дворец, Вы и тогда имели бы министров, генералов, но они служили бы не отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наёмники, как истинные рабы...»

В заключение горячего спора с Александром I по поводу его политики в отношении Польши Карамзин сказал: «Ваше Величество, у Вас много самолюбия... Я не боюсь ничего, мы оба равны перед Богом. То, что я сказал Вам, я сказал бы Вашему отцу... Я презираю скороспелых либералистов; я люблю лишь ту свободу, которой не отнимет у меня никакой тиран... Я не нуждаюсь более в Ваших милостях».

Карамзин ушёл из жизни 22 мая (3 июня) 1826 года, работая над двенадцатым томом «Истории...», где он должен был рассказать о народном ополчении Минина и Пожарского, освободившем Москву и прекратившем «смуту» в нашем Отечестве. Рукопись этого тома оборвалась на фразе: «Орешек не сдавался...»

Значение «Истории государства Российского» трудно переоценить: её появление в свет было крупным актом русского национального самосознания. По словам Пушкина, Карамзин открыл русским их прошлое, как Колумб открыл Америку. Писатель в своей «Истории...» дал образец национального эпоса, заставив каждую эпоху говорить своим языком. В последних томах Карамзин использовал опыт исторического романа Вальтера Скотта, давая Борису Годунову глубокую нравственно-психологическую характеристику. Труд Карамзина оказал большое влияние на русских писателей. Опираясь на Карамзина, создавал своего «Бориса Годунова» Пушкин, сочинял свои «Думы» Рылеев. «История государства Российского» стиму-

лировала развитие русского исторического романа от М. Н. Загоскина, И. И. Лажечникова до Л. Н. Толстого. «Чистая и высокая слава Карамзина принадлежит России», – сказал Пушкин.

Вопросы и задания

1. Попробуйте объяснить, почему сентиментализм оказался близким русскому национальному самосознанию.

2. Какие события детства и юности Карамзина способствовали формированию его литературного таланта? Чем объясняется временное сближение Карамзина с масонскими кругами и последующий разрыв с ними?

3. В чём Карамзин следует примеру «Сентиментального путешествия Стерна» и в чём отступает от своего образца? Какие выводы делает путешественник, наблюдая предреволюционные события во Франции?

4. Каким вы представляете автора, рассказавшего печальную историю о бедной Лизе? Какова его роль в повествовании?

5. Подготовьте рассказ о причинах языковой реформы Карамзина и Шишкова и дайте характеристику сильным и слабым сторонам в позициях полемистов.

6. Как художественный талант Карамзина проявился в его историческом труде? Почему убежденный монархист Карамзин вступал в спор с императором Александром I? Как вы поняли, в чём заключается, по Карамзину, различие между самодержавием и самовластием?

7. Подготовьте чтение фрагментов из «Записки о Древней и Новой России» Н. М. Карамзина. Какие мысли историка показались вам наиболее интересными, острыми, современными?

Становление и развитие русского романтизма первой четверти XIX века





Конец XVIII века в истории христианской Европы был ознаменован глубоким социальным катаклизмом, взорвавшим до основания весь общественный порядок и поставившим под сомнение веру в человеческий разум и мировую гармонию. Кровавые потрясения Великой французской революции 1789–1793 гг., наступившая вслед за ними эпоха наполеоновских войн, установившийся в результате революции буржуазный строй с его эгоизмом и меркантильностью, с «войною всех против всех» – всё это заставило усомниться в истине просветительских учений XVIII века, обещавших человечеству торжество свободы, равенства и братства на разумных началах.

В опубликованном в 1795 году письме «Мелодор к Филалету» Н. М. Карамзин отмечал: «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нём последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни.

О Филалет! Где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своём основании!»

«Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю тебя!..» Люди конца века потрясены случившимся. «Вот плоды вашего просвещения! – говорят они, – вот плоды ваших наук, вашей мудрости! <...> Да погибнет же ваша философия!» – И бедный, лишённый отечества, и бедный, лишённый крова, и бедный, лишённый отца, или сына, или друга, повторяют: «Да погибнет!» И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедствий, в горести своей повторяет: «Да погибнет!»»

В ответном письме «Филалет к Мелодору» Филалет соглашается с другом: «...Мы излишне величали восемнадцатый век и слишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуждениям подвержен ещё разум наших современников!» Но, в отличие от Мелодора, Филалет не впадает в уныние. Он считает, что эти заблуждения заключены не в природе разума, а в человеческой гордыне. «Горе той философии, которая всё решить хочет! Теряясь в лабиринте неизъяснимых затруднений, она может довести нас до отчаяния...»

В чём же видит спасение герой Карамзина, в чём источник его оптимизма? «...Подобно мореплавателю, который в гибельный час кораблекрушения – в час, когда все стихии угрожают ему смерти, – не теряет надежды, сражается с волнами и хватает рукою за плывущую доску»,

Филалет обращается к вере: «Пусть докажут мне наперёд, что Бог не существует, что Провидение есть одно слово без значения, что мы – дети случая, сцепление атомов и более ничего! Но где же тот безумный изверг, который захотел бы уверить меня в сих страшных нелепостях? Я взгляну на сапфирное небо, на цветущую землю, положу руку на сердце и скажу атеисту: “Ты безумец!” <...> Бог вложил чувство в наше сердце, Бог вселил в мою и в твою душу ненависть к злобе, любовь к добродетели – сей Бог, конечно, обратит всё к цели общего блага».

В словах Филалета – русский ответ на то смятение умов, на тот мировоззренческий кризис, который переживал европейский мир на рубеже XVIII–XIX веков. Этот кризис породил в литературе новое художественное явление, получившее название *романтизм*. Романтизм стал кульминацией, вершиной антипросветительского движения, зарождавшегося уже в XVIII веке в качестве *сентиментализма* (или *предромантизма*), но прокатившегося мощной волной по всем европейским странам в первой половине века девятнадцатого. Его причиной явилась глубочайшая неудовлетворённость результатами Великой французской революции. «Установленные “победой разума” общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей», – отмечал Ф. Энгельс.

Крах веры в разум привёл европейское человечество к «космическому пессимизму», безнадёжности и отчаянию, сомнению в ценности современной цивилизации. Отталкиваясь от несовершенного земного миропорядка, романтики обратились к идеалам вечным и безусловным. Возник глубокий разлад между этими идеалами и действительностью, который привел к *романтическому двоемирию*. Романтики потянулись к далёкому от цивилизации природному миру, экзотическим странам, отечественной истории и фольклору, европейскому средневековью – ко всему, что не напоминало современную жизнь.

В противовес отвлечённому разуму просветителей XVIII века, предпочитавшему извлекать из всего «общее», «типическое», романтики провозгласили идею *суверенности и самоценности каждой отдельной личности* с богатством её духовных запросов, глубиной её внутреннего мира. Главное внимание они сосредоточили не на обстоятельствах, окружавших человека, а на его переживаниях и чувствах. Романтики открыли своим читателям неведомую до них сложность и богатство человеческой души, её противоречивость и неисчерпаемость. Они питали пристрастие к изображению сильных и ярких чувств, пламенных страстей или, напротив, тайных движений человеческой души с её интуицией и подсознательными глубинами.

В России романтические веяния тоже возникли под влиянием событий французской революции, но окрепли в результате подъёма национального самосознания в ходе Отечественной войны 1812 года. Наступившая после победоносной войны реакция, отказ правительства Александра I от либеральных обещаний начала его царствования привели общество к глубокому разочарованию, которое ещё более обострилось после краха декабристского движения. Таковы исторические предпосылки *русского романтизма*, которому были свойственны общие черты, сблизившие его с романтизмом западноевропейским. Русским романтикам тоже присуще обострённое чувство личности, устремлённость к «внутреннему миру души человека, сокровенной жизни его сердца» (В. Г. Белинский), повышенная субъективность и эмоциональность авторского стиля, интерес к отечественной истории и национальному характеру.

Вместе с тем русский романтизм имел свои национальные особенности. Прежде всего, в отличие от романтизма западноевропейского, он сохранил исторический оптимизм, веру в прогресс и надежду на возможность преодоления противоречий между идеалом и действительностью. В романтизме Байрона, например, русских поэтов привлекал пафос свобододолюбия, бунт против несовершенного миропорядка, но им оставались чужды байронический скептицизм, «космический пессимизм», настроения «мировой скорби». Русские романтики не приняли также культ самодовольной, гордой и эгоистически настроенной человеческой личности, противопоставив ему идеальный образ гражданина-патриота или гуманного человека, наде-

лённого чувством христианской любви и сострадания. Романтический индивидуализм западноевропейского героя не нашёл на русской почве поддержки, но встретил суровое осуждение.

Эти особенности нашего романтизма были связаны с тем, что русская действительность начала XIX века таила в себе скрытые возможности к радикальному обновлению: на очереди стоял крестьянский вопрос, созревали предпосылки к большим переменам, которые совершились в 60-е годы XIX века. Существенную роль в национальном самоопределении русского романтизма сыграла и тысячелетняя православно-христианская культура с её неприятием индивидуализма, с осуждением эгоизма и тщеславия. Поэтому в русском романтизме, в отличие от романтизма западноевропейского, *не произошло решительного разрыва с духом просвещения и классицизма.*

Карамзинский Филалет, осуждая уныние и скептицизм Мелодора, говорит: «Знаю, что распространение некоторых ложных идей наделало много зла в наше время, но разве просвещение тому виною? Разве науки не служат, напротив того, средством к открытию истины и рассеянию заблуждений, пагубных для нашего спокойствия? <...> Светильник наук не угаснет на земном шаре. Ах! Разве не они служат нам отрадою в горестях? Разве не в их мирном святилище укрываемся от всех бурь житейских? Нет, Всемогущий не лишит нас сего драгоценного утешения добрых, чувствительных, печальных. Просвещение всегда благотворно; просвещение ведёт к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и открывая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение есть лекарство для испорченного сердца и разума...»

Карамзин здесь не только не противопоставляет веру разуму, но говорит об их естественном и вечном союзе: он отстаивает истину просвещающего *разума, согретого лучами веры*, пронизанного светом высоких нравственных истин. Это *тяготение к синтезу романтизма с просветительством* способствовало раннему и более лёгкому преодолению романтического двоемирия и переходу русской литературы к реалистическому освоению действительности с диалектической взаимосвязью идеала и реальности, человеческого характера и окружающих его обстоятельств.

В то же время русский романтизм не был единым течением. В 1820–1822 годах произошло его размежевание на «*психологический романтизм*» школы В. А. Жуковского и «*гражданский романтизм*» поэтов декабристской ориентации. Оба эти течения обладали историческим оптимизмом и верой в будущее России. Но пути достижения желаемого идеала у них были разными.

Поэты школы Жуковского видели источник зла и социального неблагополучия не в общественных отношениях, а в помрачённой грехом дисгармоничной природе человека. Поэтому и пути исцеления больного общества они искали в самовоспитании человека, в обуздании собственного ему эгоизма. Отсюда их особый интерес к внутреннему миру человеческой личности, нравственным проблемам, тонкому проникновению в тайны и загадки человеческой психики.

Поэты «гражданского романтизма» усматривали источник зла в окружающих человека обстоятельствах и вынашивали в своем творчестве идеал гражданина-патриота, любящего свое отечество и вступающего в решительную борьбу с «самовластием», с несовершенным устройством современного общества. В литературе они видели действенное средство патриотического воспитания человека-борца. В уставе декабристского «Союза благоденствия» (1818–1821) было записано, что «сила и прелесть стихотворений» состоит «более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих».

Эстетика декабризма заимствовала от классицизма XVIII века требование высокого, гражданского содержания, она обращалась к жанру оды, лироэпическому гимну, сатире. Она противостояла «унылой элегии» школы Жуковского, утверждая веру в силу разума с одновременным культом сильных гражданских чувств. Лирический монолог поэта «гражданского

романтизма» утверждался не в жанре элегического размышления с его утонченным психологизмом, пристрастием к иррациональным проявлениям человеческой психики, а в гражданской, одической традиции с её ораторско-декламационным стилем. Вместо элегических формул «розы», «слёзы», «младость», «радость» в их поэзии обрели эмоционально окрашенное звучание иные «слова-сигналы»: «тиран», «вольность», «цепи», «кинжал».

В стихотворении **Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–1826)** «Я ль буду в роковое время...» идеальный образ гражданина, смелого, целеустремленного, готового жертвовать собой, противопоставлен «изнеженному племени переродившихся славян». Обращаясь к равнодушным, охладевшим душою современникам, лирический герой Рылеева хочет разбудить их пламенным призывом к борьбе за свободу отчизны. Романтическая антитеза определяет в этом стихотворении всё, даже особенности поэтической рифмовки. Это рифмовка, в которой первое слово даёт ассоциации с лёгкой поэзией школы Жуковского, а второе, по контрасту – с гражданской, политической лирикой: «сладострастье» – «самовластье», «неги» – «Риеги»⁵.

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить своей век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким гнётом самовластья.

В посвящении к поэме «Войнаровский», обращаясь к своему другу А. Бестужеву, Рылеев скажет о своих стихах:

Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин.

Назначение своей поэзии декабристы видели «не в изнеживании чувств, а в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего». С этой целью они обращались к историческому прошлому, стремясь «возбудить доблести сограждан подвигами предков». В фольклоре декабристов интересовали не лирические народные песни, не сказки, а исторические песни и предания. В древнерусской литературе они ценили воинские повести, где, по словам А. Бестужева, «непреклонный, славлюбивый дух народа дышит в каждой строке».

Наиболее ярким примером исторической поэзии декабристов были «Думы» Рылеева. В предисловии к ним поэт сказал: «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти – вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с годами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета».

Сюжеты своих дум Рылеев заимствует в народных легендах и преданиях, в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Герои дум – мученики, страдальцы, гибнущие за правое дело, вступающие в решительную борьбу с носителями общественного зла. В думах,

⁵ Рафаэль дель Риго-и-Нуньес – испанский генерал, либеральный политик, лидер партии левых либералов, действовавшей в период буржуазной революции (1820–1823 годы).

в отличие от классической оды или поэмы, преобладает лирическое начало, ключевую роль в них играют монологи героев, эмоционально насыщенные, возвышенные, исполненные патриотических чувств. Героев окружают романтически окрашенные пейзажи: ночь, буря, скалы, тёмные тучи, сквозь которые пробивается луна, вой ветра и блеск молний. Так начинается дума «Смерть Ермака»:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком берегу Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Товарищи его трудов,
Побед и громозвучной славы,
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали близ дубравы.
«О, спите, спите, – мнил герой, —
Друзья, под бурею ревущей;
С рассветом глас раздастся мой,
На славу иль на смерть зовущий!»

Однако ещё Пушкин обратил внимание на отсутствие историзма в думах Рылеева: история для него – иллюстрация, собрание положительных или отрицательных примеров, имеющих прямой агитационный смысл. Поэтому герои дум говорят одинаковым, возвышенно-декламационным языком. Лишь в отдельных произведениях Рылеев приближается к той исторической достоверности в передаче характеров и обстоятельств, какая была, например, уже доступна Пушкину в его «Песни о вещем Олеге». Не случайно Пушкин высоко оценил думу Рылеева «Иван Сусанин»:

«Убейте! замучьте! – моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».

«Злодей! – закричали враги, закипев, —
Умрешь под мечами!» – «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»

«Умри же! – сарматы герою вскричали,
И сабли над старцем, свистя, засверкали! —
Погибни, предатель! Конец твой настал» —

И твердый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла Михаила!

Но талант Рылеева-поэта не успел раскрыться полностью. Накануне восстания 14 декабря именно его квартира превратилась в штаб. *Поэт* предчувствовал, что идет на верную смерть. В отрывке из поэмы «Наливайко» он сказал:

Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Накануне восстания он говорил своим друзьям: «Судьба наша решена... Но мы начнём. Я уверен, что погибнем, но пример останется».

Священник Пётр Николаевич Мысловский (1777–1846) – протоиерей Казанского собора в Санкт-Петербурге, духовник многих декабристов, склонивший их к покаянию, часто посещая Рылеева в крепости, говорил, что встретил в нем «истинного христианина, готового душу положить за други своя». На кленовом листе Рылеев нацарапал для передачи своему другу-союзнику Евгению Оболенскому такие стихи:

Мне тошно здесь, как на чужбине.
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст крыле мне голубине,
Да полечу и почию.
Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвётся вон.
Творец! Ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон:
Приникни на моё моление,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши.

«Он веровал, – вспоминали друзья, – что если человек действует не для себя, а на пользу ближних и убеждён в правоте своего дела, то, значит, само Провидение им руководит».

Так, в поздних стихах Рылеева, написанных в каземате Петропавловской крепости, появились отчетливо выраженные христианские мотивы, сближающие его лирику с элегическими мотивами Жуковского. Синтез двух течений русского романтизма, гражданского и психологического, намечается уже в поэзии Пушкина, начиная со стихов петербургского периода. Но завершится этот синтез, как мы увидим далее, в 1830-е годы в поэзии и прозе «любомудров» и в лирике М. Ю. Лермонтова.

Поэзия гражданского романтизма опиралась на опыт романтизма психологического, использовала открытую им многозначность поэтического слова. Старославянизмы и другие слова высокого стиля классицизма потеряли в их творчестве свойственную классицизму рациональность. Высокое слово приобрело у них эмоциональные ореолы, окрасилось личностным отношением автора, стало звучать как торжественная музыка.

К середине 1810-х годов «карамзинисты» как будто бы победили «шишковистов». Однако на исходе 1810-х годов на них возобновились полемические нападки со стороны молодых поэтов декабристской ориентации: Ф. Н. Глинки, П. А. Катенина, А. С. Грибоедова.

В 1811 году **Фёдор Николаевич Глинка (1786–1880)** публикует в «Русском вестнике» статью «Замечания о языке славянском и русском, или светском наречии»: «Какое изобилие! Какие возвышенные и какие величественные красоты в наречии славянском! И притом, какое искусное и правильное сочетание слов, без чего и лучшие мысли теряют свою красоту».

Особый интерес Глинка питает к поэзии духовной, пропагандирующей нравственные идеалы, доступные и понятные русскому православному народу. В 1826 году он издаёт два итоговых сборника – «Опыты священной поэзии» и «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний в стихах и в прозе». В первой книге Глинка развивает традицию псалмической поэзии, включая в неё элементы элегического стиля. Поэтому в его псалмах нет запутанного синтаксиса, слог их, несмотря на обилие славянизмов, ясен и прост. Подкупает в псалмах особое, доверительно-дружеское общение автора с Богом. И. А. Крылов иронизировал: «Глинка с Богом запанибрата, он Бога в кумовья к себе позовёт». Вот, например, строфы из псалма 77, названного Глинкой «Горе и благодать»:

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели
И сильный слабого терзал.
Не стало дел, ни прав священных,
Молчал обиженный Закон;
И востекал от притесненных
Глухой, протяжный, тяжкий стон.
Как дым, прошло сиянье славы,
Сокрылась кроткая любовь;
И человеков род лукавый
Был вид повапленных гробов!
Простились люди с тишиною,
Везде мятеж и грустный мрак,
И глад с кровавою войною
На трупах пировал свой брак;
Стихии грозно свирепели,
И мир чего-то ожидал...
Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели!

В стихотворении «Воззвание», обращаясь к Богу, Глинка говорит:

Куда ты, Господи? Постой!
Внемли! Уж силы ослабели.
Как мать к младенчьею колыбели,
Склони ко мне Свой лик святой.
Я притеснен, Отец! я плачу,
От слёз больна моя глава;
Шумит враждебная молва...
Куда я трепет сердца спрячу?

В поэзии Глинки постоянно вступают в диалог два мотива – вольнолюбивый и религиозный, но первый нисколько не противоречит второму: Глинка был глубоко верующим человеком. В послании к нему от 1822 года Пушкин сказал: «Но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин». К политическим планам «Северного общества» Глинка сохранял скептическое отношение: «Господа, я человек сему делу чуждый и благодарю вас за доверенность вашу: мой совет и мнение может быть только, что на любви единой зиждется благо общее, а не на брани. Полно рыцарствовать! Живите смирнее!»

12 или 13 декабря Глинка пришёл к Рылееву с последним советом: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». Он фактически уже не являлся членом «Северного общества» и не принимал участия в восстании. Но за дружбу с Рылеевым и за принадлежность к «Союзу Благоденствия» его заключили в Петропавловскую крепость, а затем сослали в Олонецкую губернию. В одиночной камере Глинка написал стихи «Песнь узника», которые стали народной песней:

Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!

А бедный юноша! ровесник
Младым цветущим деревьям,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдаёт тоску волнам!

«Прости отчизна, край любезный!
Прости мой дом, моя семья!
Здесь за решёткою железной —
Уже не свой вам больше я!

Не жди меня отец с невестой,
Снимай венчальное кольцо;
Застынь моё навеки место;
Не быть мне мужем и отцом!»...

Вошёл в песенный репертуар народа и «Сон русского на чужбине»:

Уснул – и вижу я долины
В наряде праздничном весны,
И деревенские картины
Заветной русской стороны!..
И мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик – дар Валдая —
Гудит, качаясь под дугой...
Младой ямщик бежит с полночи:
Ему сгрустнулося в тиши,
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души:
«Ах, очи, очи голубые!

Вы иссушили молодца!
Зачем, о люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца? ...

Перу Глинки принадлежит замечательная книга, оказавшая влияние на русских писателей первой и второй половины XIX века – «Письма русского офицера». Фёдор Николаевич был участником обороны Смоленска, Бородинского сражения, а также сражений под Вязьмой, Красным и Малоярославцем. Глинка признавался, что его «Письма» создавались «не в уединении спокойном, но под небом, освещённым огнями обширных пожаров, посреди шума сражения, наконец, во время долговременного томления Отечества...» Печатались «Письма» отдельными выпусками в 10–20-е годы XIX века, а потом неоднократно переиздавались. Вспоминая о том впечатлении, которое они произвели на читателей, один из современников Глинки писал: «Я помню, с каким восторгом наше, тогда молодое, поколение повторяло начальные строки письма от 29 августа 1812 года: „Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов”».

«Я видел ужаснейшую картину: я был свидетелем гибели Смоленска, – рассказывает Глинка. – 5 августа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов, продолжалось сражение под стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг; дрались как львы. Французы, или, лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломались в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, утомлённый противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью... Тучи бомб, гранат и чинёных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. – И дома, церкви и башни обнялись пламенем – и всё, что может гореть, – запылало!.. Опламенённые окрестности, густой, разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жён и детей, целый народ, упadaющий на колени с воздетыми к небу руками – вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли её на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными... В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божией Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражения, сопровождал печальное шествие сие. Блеск пожаров освещал оное. Третьего дня дрались, вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут драться! Враги берут одним многолюдством. Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, гласит, наконец, главнокомандующий в последней прокламации своей. – Итак – народная война!»

Глинке принадлежит знаменитое описание Бородинского сражения, оказавшее сильнейшее влияние на русскую литературу: «Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспремерное сражение Бородинское, 26 августа. Туча ядер, с визгом пролетевших над шалашами нашими, пробудила меня и товарищей. Вскакиваем, смотрим: густой туман лежит между нами и ими. Заря только начинала зажигаться. Неприятель подвёз несколько сот орудий и открыл целый ад. Бомбы и ядра сыплются градом. Треск и взрывы повсеместны. Одни шалаша валяются, другие пылают! – Войска бегут к ружью и в огонь. – Всё сие происходило в середине; а на левом крыле давно уже свирепела гроза в непрерывных перекатах грома пушек и мелкого ружья. Мы простились с братом. Он побежал со стрелками защищать мост. – Большую часть сего ужасного дня проводил я то на главной батарее, где находился светлейший, то на дороге, где перевязывали раненых. – Мой друг, я видел сие неимоверно жестокое сражение, и ничего подобного в жизнь мою не видал, ни о чём подобном не слышал и едва ли читывал. ... Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов, на самом тесном по многочисленности их пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслышанным отчаянием: 2000 пушек гремели непрерывно. Тяжко воздыхали окрестности – и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы

мешались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вождельного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в знаменитой столице; другие помнили, что заслоняют собою сию древнюю столицу, сердце России и мать городов. Оскорблённая вера, разорённые области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли о мщении и мужестве. Сердца русские внимали священному воплю сему, и мужество наших войск было неописанно. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг»

Несравненные картины Бородинского сражения дали живой исторический материал стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино»: «Всё безмолвствует!.. Русские, с чистою безупречною совестью, тихо дремлют, облёгши дымящиеся огни... На облачном небе изредка искрятся звёзды. Так всё покойно на нашей стороне.

Напротив того: ярко блещут устроенные огни в таборах неприятельских; музыка, пение, трубные гласы и крики по всему стану их разносятся». Сравним у Лермонтова:

Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый...

Глинка смотрит на события европейской жизни глазами русского православного христианина, давая живой материал для романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир». В Наполеоне, кумире воинственной толпы, он видит прямое детище Великой французской революции, события которой оценивает по-христиански, как прямое следствие суемудрия людей, обожествивших свой разум:

«Переворот, постигший Францию, начался переворотом коренных мнений и общих понятий. Своекорыстие (Égoïsme) и суемудрие суть две главные пружины, двигавшие всеми колёсами адской машины – революции! <...> Своекорыстие заглушило небесные поучения веры, воспалило в людях неисцельную жажду к деньгам, к собственным выгодам и оградило сердца их жестокою корою равнодушия. Тогда все поучения евангельские упали на камни, и милосердие, жалость и любовь к ближнему не могли уже более входить в души ожесточенных. Тогда показывались странные явления в обществе: люди без заслуг, дарований и просвещения пользовались неисчётными выгодами богатства в то самое время, как заслуги, дарования и просвещение стесали в ужасной нищете!.. <...>

Суетное, приняв на себя пышное название философии, напоило ядом все писания того времени и превратило понятия о вещах. Забавляя народ блеском лжеумствования, оно отнимало животворительную силу у сущности законов, постановлений и священных обрядов. Народ, потерявший чистые понятия, нераздельные с чистотою нравов, бродил в глубокой ночи заблуждений. Сия же тьма пала и на очи управлявших судьбою Франции. Ощупью искали они способов двигать расслабленными пружинами государства и часто для утешения народа, страдавшего уже тайными предчувствиями бед, золотили кровли тех зданий, которых стены, дряхлея, упали!.. Но вскоре тайные замыслы лжеумствователей сделались явны и суетное, приняв дерзость и вид безверия, нагло поколебало древнюю святость алтарей. Оскорблённая вера с громким рыданием удалась во глубину пустынь. Зашумели страсти, и запылали мятежи... Таковы были последствия суетности!! С высоты разгневанных небес ниспало оно в виде светлой апокалиптической звезды, из которой воскурился густой мрак, затмивший сияние истины и очи несчастного народа. Тогда великая книга прошедшего, со всеми спасительными поучениями своими, закрылась навсегда от нечестивых взоров утопавших в разврате людей. Французы забыли историю греков и римлян, забыли лютые последствия домашних неустойств...

Дерзко отреклись они от Бога и гордо вызвались быть творцами собственного счастья. Потемнели небеса мятежной земли; померкли последние лучи благоденствия; тяжело вздыхали храмы Божии, и громко сетовали чертоги царей. Исступлённое буйство одною рукою сорвало трон, а другою воздвигало эшафот. Здесь, на площади Людовика XV, возвышалось сие ужасное орудие гибели добродетельнейшего из государей. <...> Блеснула секира, пала глава священная, небо приняло к себе добродетель, и порочные французы уже не видали с тех пор прелестного образа её. На них и на чад их пала кровь порфирного страдальца. Огнём и кровью очищался народ. Поколение преступников исчезло в бурях мятежей».

Так события Отечественной войны 1812 года формировали историософское мышление русского офицера. Отголоски его мыслей слышатся в пушкинской оде «Вольность». Л. Н. Толстой в «Войне и мире» опирается на эти мысли Глинки, объясняя причины агрессивных войн французов во главе с Наполеоном: «Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая своё воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющиеся свершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.

И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатывается шаг за шагом группа новых размеров, новые привычки и предания, и готовится тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.

Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место».

Толстой был внимательным читателем «Писем русского офицера». Он заимствовал у Глинки не только детали в описании событий Отечественной войны, но и религиозно-философскую их оценку, православно-христианское их осмысление.

Вслед за Глинкой отстаивает верность стилю гражданского романтизма **Павел Александрович Катенин (1792–1851)**.

В 1822 году он пишет в «Сыне отечества»: «Знаю все насмешки новой школы над славянофилами, варягороссами и пр., но охотно спрошу у самих насмешников, каким же языком нам писать эпопею, трагедию или даже важную благородную прозу? Лёгкий слог, как говорят, хорош без славянских слов; пусть так, но в лёгком слоге не вся словесность заключается: он даже не может занять в ней первого места; в нём не существенные достоинства, а роскошь и щегольство языка».

Одновременно с отстаиванием высокого стиля в поэзии с новой остротой поднимается проблема народности литературы. Она волновала не только консервативную часть русских писателей, разделявших взгляды Шишкова. Близкий к декабристам Катенин – решительный противник романтического субъективизма, манерности, слащавости и вялости поэтического языка писателей-«карамзинистов». В 1815 году он начинает полемику с Жуковским, публикуя баллады «Наташа», «Убийца», «Леший». В 1816 году, вступая в прямое соперничество с «Людмилой» Жуковского, Катенин пишет балладу «Ольга» – вольный перевод «Леноры» немецкого поэта Г. А. Бюргера. Выступая против перифрастического стиля и утончённого психологизма Жуковского, Катенин стремится к точности в передаче «простонародного» быта, к психологически достоверной речевой характеристике героев. В полемике с мистицизмом баллад Жуковского Катенин огрубляет изображение нечистой силы, встреченной Ольгой на пути с мёртвым женихом:

Казни столп; над ним за тучей
Брежит трепетно луна;
Чьей-то сволочи летучей
Пляска вокруг его видна.

В балладе «Убийца» и сам сюжет, и поэтический слог у Катенина в ряде моментов превосходит поэзию Н. А. Некрасова:

В селе Зажитном двор широкий,
Тесовая изба,
Светлица и терем высокий,
Белёная труба...

Катенинская «Ольга» положила начало литературной полемике: с резкой критикой на неё выступил Н. И. Гнедич, осудивший «простонародные» баллады Катенина за «грубость» языка и «жёсткий слог». За Катенина вступился Грибоедов, отмечая речевое новаторство поэта в передаче русского национального колорита. А потом и Кюхельбекер в статье «Взгляд на текущую словесность» (1820) из всей новейшей поэзии выделил баллады Катенина за «попытку сблизить наше нерусское стихотворство с богатою поэзией народных песен, сказок, преданий – с поэзией русских нравов и обычаев». В противоположность «вялому и бессильному» языку элегической поэзии Кюхельбекер требовал использования всех языковых средств, пригодных для создания впечатления силы, напряжённости, «разительности» стиха, в том числе и славянизмов. Слог поэта, считал он, хорош тогда, когда «ознаменован истинным вдохновением, и по сему самому мощен, живописен, разителен».

Вопросы и задания

1. Какие события европейской и русской истории стали основой для формирования романтического мироощущения? Почему итоги века Просвещения вызвали разочарование в образованных людях той эпохи? Какие идеи просветителей обнаружили свою несостоятельность? Почему на русской почве не получила полного развития индивидуалистическая философия европейских романтиков?

2. Какие жанры стали важнейшими в поэзии К. Ф. Рыльева? Почему? Как новые, романтические мотивы преобразили классический облик гражданской оды в творчестве Рыльева?

3. Подготовьте выразительное чтение фрагментов из дум Рыльева «Ермак», «Иван Сусянин». Поясните, в чём видел Рылеев назначение своих исторических дум. Как вы считаете, достигают ли они поставленной цели?

4. Дайте характеристику псалмической поэзии Глинки и народных мотивов в его стихах.

5. Какое влияние на русскую литературу оказали «Письма русского офицера»? В чём видит Глинка причины Французской революции и наполеоновских войн?

6. Дайте оценку литературным балладам Катенина.

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)





Романтический мир Жуковского

Ещё В. Г. Белинский обратил внимание на то, что «романтизм – принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии: его источник в том, в чём источник искусства и поэзии, – в жизни... В теснейшем и существеннейшем своём значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца». Жуковский прямо связал поэзию с жизнью и утвердил принцип: «живи, как пишешь, и пиши, как живёшь». Программа всей жизни Жуковского – «жить для души». «Лучшее наше добро есть наше сердце и его чистые чувства», – говорит он. «Из всех людей, которых я знал, – писал о Жуковском Н. И. Тургенев, – я не видал другой души, столь чистой и невинной».

Одновременно Жуковский закрепил новый, более высокий взгляд на поэзию. Он считал её «связующим звеном между миром земным и миром идеальным». Поэзия – отражение горнего мира, к которому стремится и о котором тоскует на земле душа. Поэзия нам его открывает. В минуту вдохновения душу посещает «гений чистой красоты»:

Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!
Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И приносит откровенья
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В тёмной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он даёт взглянуть порой...

(«Лалла Рук»)

Поэзия у Жуковского – «религии небесной сестра земная», она «есть Бог в святых мечтах земли». Поэт у Жуковского – носитель Божественной истины, а поэтическое слово зажигается от Слова, дарованного свыше. Истинные поэты *не отражают, а преобразуют* мир, и преобразование это осуществляется не по их субъективному замыслу или капризу, а по воле Того, Кто пробуждает в них творческий дар. Поэт ловит отблеск вечного и бесконечного в преходящих формах земного бытия. Он не сочиняет произведение по своему произволу. Напротив, в минуту поэтического вдохновения его духовному зрению открывается тайна божественной гармонии.

Жуковский утвердил, таким образом, русское представление о христианской природе поэтического слова, о духовно преобразующей роли литературы, о действенном характере её художественных образов. Поэтом может быть лишь человек с чистым сердцем и верующей душой.

Русская литература обязана Жуковскому возвращением в неё христианского идеала. Жуковский был, по словам Белинского, переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрещённого в начале XIX века немецкими и английскими поэтами, преимуще-

ственно же Шиллером. Если классицисты тосковали по Элладе и в качестве образца указывали на искусство Древней Греции, то романтики обратили внимание на христианское Средневековье. Древние, считали они, имели как бы телесную душу, но сердце, повитое христианством, совершенно иное и требует иной поэзии. Древняя душа проста. Душа христианина, напротив, нуждается в бесконечных оттенках для передачи всего, что в ней происходит.

Литература романтизма ответила религиозной неудовлетворённости европейского общества в эпоху кризиса просветительской веры в разум, наступившего после Великой французской революции, обманувшей надежды просветителей. В русских условиях этот возврат к христианским ценностям совпал с завершением становления новой русской литературы, национально-самобытной, восстанавливающей преемственную связь с культурой отечественного православно-христианского мироощущения, нарушенную в Петровскую эпоху. Во всех своих произведениях Жуковский открывал красоту христианских идеалов, и в этом главным образом заключается его национальное своеобразие.

Однако возникает вопрос, почему Жуковский для поэтического удовлетворения христианских чувств обращался к переводам немецкой и английской поэзии?

«Переимчивость» Жуковского была обусловлена историческими потребностями становления и развития языка молодой русской литературы, нуждавшейся в опоре на образцы более зрелой и разработанной литературы Запада для передачи переживаний одухотворённой души. Жуковский в своих переводах не столько воспроизводил содержание оригинала, сколько развёртывал потенциальные возможности, которые в нём были скрыты. Изучавшие русский язык по переводам Жуковского иностранцы отмечали, что стихи русского поэта казались им порой оригиналами, а оригиналы, с которых делались эти переводы, – копиями.

Сам Жуковский говорил, что в поэзии переводчик не раб, а соперник переводимого писателя: «Я часто замечал, что у меня наиболее светлых мыслей тогда, когда их надобно импровизировать в выражение или в дополнение чужих мыслей. Мой ум, как огниво, которым надобно ударить об камень, чтобы из него выскочила искра. Это вообще характер моего творчества; у меня всё или чужое, или по поводу чужого – а всё, однако, моё».

Переводы Жуковского – это искусство «перевыражения» чужого в своё, Тонкий и чуткий филолог С. С. Аверинцев, сравнивая подлинник баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург» с переводом Жуковского, заметил: Шиллер в своей балладе – поэт-историк. Он стремится к достоверной передаче нравов рыцарских времён. Он точно воссоздает «средневековый этикет», связанный с «культом прекрасной дамы», и совсем не собирается представлять изображаемое как некий идеал для своих современников.

Жуковский, сохраняя сюжет Шиллера, наполняет его сердечным содержанием. Он стремится, чтобы его читатели приняли историю платонической любви рыцаря как образец, достойный подражания, как идеал одухотворённых христианских чувств. Героиня у Жуковского заменяет вежливое «Вы» на доверительное «ты», этикетную учтивость на живое чувство:

Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовьию иною
Не могу любить...

«Милый рыцарь» – так может обратиться к любимому православная русская боярышня, но в устах дочери владельца средневекового замка подобная нежность невозможна. Если Шиллер по католической традиции ставит в центр волю, то Жуковский, по православно-христианской, – сердце. «Смысл слов, – пишет Аверинцев, – отказ от любви, но поэтическая энергия слов говорит о другом: первая строка начинается словом “сладко”, вторая – словом “милый”<...>. Любовь как бы разлита, растворена в самом звучании: “любвиую иною...”».

У Шиллера будущая монахиня предлагает взамен отвергаемой земной любви отстранённое, беспорывное благорасположение. У Жуковского она предлагает – где-то за словами – едва ли не мистическую любовь, не духовный брак». И в финале она, по замечанию Аверинцева, не выглядывает из окна монастырской кельи, как у Шиллера, «а воистину “является”, как видение, без слов подтверждая, что всё, что нам померещилось за её словами в первой строфе, – правда:

Чтоб прекрасная явилась;
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины...

У Шиллера дева наклоняется над долиной – долина внизу, под ней. У Жуковского она наклоняется “от вышины”. Долина, над которой наклоняются, – это часть ландшафта. “Тихий дол”, в который склоняются, – это едва ли не “юдоль”, не “дольнее”. Лицо, никнувшее в этот “дол”, – вне земных масштабов»⁶.

Столь интимное переживание духовной любви у Жуковского связано, конечно, с особенностями православия, где на первом плане стоит сердечное начало. Но дело ещё и в другом. Романтизм Жуковского, в отличие от романтизма на Западе, выполняет несколько иную историческую миссию. Шиллера отделяют от эпохи Средневековья по крайней мере три века существования в Западной Европе светской культуры. Он смотрит на события баллады издали. У Жуковского дистанция значительно короче. Христианское мирозерцание для русского поэта не утратило свою живую силу и актуальность.

Наша светская литература ещё только вступает в стадию оформления. Начало ему положили петровские преобразования, столь недалёкий для Жуковского XVIII век. Литература создаётся в России узкой прослойкой просвещённых людей. Её окружает мощная стихия народной жизни, всецело остающейся в лоне православно-христианского сознания. На Жуковского выпадает миссия воссоединения «дворянской» и «народной» культур в единую русскую культуру. Эта устремленность к синтезу и придаёт поэзии Жуковского вневременную общенациональную значимость, которую пронизательно почувствовал Пушкин:

Его стихов пленительная сладость
Пройдёт веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

⁶ Аверинцев С. С. Размышления над переводами Жуковского // Зарубежная поэзия в переводах Жуковского. Том 2. М., 1985. – С. 553–574.

Детство Жуковского

Василий Андреевич Жуковский родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенское Белёвского уезда Тульской губернии. Он был незаконнорождённым сыном помещика Афанасия Ивановича Бунина. Мать его, Елизавета Дементьевна Турчанинова (пленная турчанка Сальха), жила в усадьбе Мишенское сначала в качестве няньки при детях Бунина, потом домоправительницы (экономки). Родившийся у неё сын по желанию Бунина был усыновлён бедным дворянином Андреем Григорьевичем Жуковским, жившим у Буниных «нахлебником». Это позволило Жуковскому сохранить звание дворянина и избежать трудной участи незаконнорождённого ребёнка.

Мальчик был принят в дом отца и вскоре сделался всеобщим любимцем. Он рос в окружении старших сестёр по отцу и их дочерей. Женская атмосфера дома Буниных отразилась на его характере – мягком, чувствительном и мечтательном. В то же время двусмысленное положение его в этой семье, неестественные отношения с матерью, служанкой отца и сестёр, способствовали раннему духовному созреванию.

Годы учения

В 1797 году Жуковский был определён в Благородный пансион при Московском университете. Годы учебы в пансионе (1797–1800) сыграли решающую роль в формировании мировоззрения и эстетических вкусов Жуковского. Опытные и уважаемые наставники этого учебного заведения: директор университета Иван Петрович Тургенев, друг Карамзина, бывший воспитатель Александра I, и настоятель пансиона Антон Антонович Прокопович-Антонский – уделяли большое внимание духовному образованию воспитанников: утверждались идеалы нравственного совершенствования, культивировались личные и гражданские добродетели, поощрялись литературные интересы и склонности к самостоятельному поэтическому творчеству. При пансионе существовало литературное общество, которое выпускало специальный альманах «Литературная заря». Вскоре Жуковский стал активным участником этого общества и автором многочисленных сочинений, в которых он подражал Ломоносову и Державину, а также писал рассуждения на морально-этические темы.

По просьбе Буниных И. П. Тургенев ввёл Жуковского в своё семейство. В его доме часто собирались выдающиеся писатели во главе с Карамзиным. Отзывчивый на добро Жуковский вскоре нашёл себе у Тургеневых вторую семью, сдружился с сыновьями Ивана Петровича – Александром, Николаем (будущим декабристом, автором известного трактата «Опыт теории налогов») и особенно с Андреем, юношей поэтически одарённым, большим знатоком английской и немецкой литератур. Преждевременная смерть Андрея Тургенева в 1803 году была первым тяжёлым ударом для Жуковского. Воспоминания об этой дружбе согревали его душу на протяжении всей жизни и отразились во многих лирических стихах.

В декабре 1800 года Жуковский окончил пансион с серебряной медалью и определился на государственную службу. В начале 1801 года Александр Тургенев вместе с Жуковским, А. Ф. Воейковым, А. Ф. Мерзляковым организовали «Дружеское литературное общество» бывших воспитанников Благородного пансиона. Они считали себя последователями Карамзина. Андрей Тургенев написал тогда в качестве поэтического образца оригинальную элегию «Угрюмой Осени мертвящая рука...» (1802), в которой уже намечались ключевые темы поэзии Жуковского, начиная с эпиграфа из Ж.-Ж. Руссо: «Так угасает всё, что мгновенно блистает на земле!»:

Угрюмой Осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду разливает;
Холодный, бурный ветер поля опустошает,
И грозно пенится ревушая река,
Где тени мирные доселе простирались.
Беспечной радости где песни раздавались, —
Поблекшие леса в безмолвии стоят,
Туманы стелются над долом, над холмами.
Где сосны древние задумчиво шумят
Усопших поселян над мирными гробами...
.....
«Смотри, как сохнет всё, хладеет, истлевает;
Смотри, как грозная, безжалостная *смерть*
Все ваши радости навеки поглощает!
Всё жило, всё цвело, чтоб после *умереть!*»

Элегия разрешается упованием на вечное блаженство, которое ждёт смертного человека за гробом:

Не вечно и тебе, не вечно здесь томиться!
Утешься; и туда твой взор да устремится,
Где твой смущённый дух найдёт себе покой
И позабудет всё, чем он терзался прежде;
Где вера не нужна, где места нет надежде,
Где царство вечное одной любви святой!

Кроме литературных задач, общество ставило перед собою просветительские цели. Жуковский выступал на его заседаниях с речами о дружбе, о страстях, о нравственном совершенствовании. Он вёл дневник, в котором анализировал свои душевные переживания, занимался развитием «внутреннего человека». Духовный рост укрепляла переписка, в которой друзья делились друг с другом успехами и трудностями самовоспитания. Дружба питалась высокими христианскими идеалами и отличалась взаимной доброжелательностью и нравственной требовательностью к себе и ближнему. По словам старшего участника, поэта А. Ф. Мерзлякова, в этом обществе «молодые люди, знакомством и дружеством соединённые, сочиняли, переводили, разбирали свои переводы и сочинения и таким образом совершенствовали себя на трудном пути словесности и вкуса».

Элегии Жуковского-романтика

Увлекаясь поэзией, Жуковский быстро охладел к государственной службе. В 1802 году он вышел в отставку и отправился на родину, в Мишенское, чтобы целиком отдать свой деревенский досуг литературе. Успех пришёл к нему в конце 1802 года, когда вслед за стихами Андрея Тургенева в «Вестнике Европы» Карамзина появилось «Сельское кладбище» – вольный перевод элегии английского поэта-сентименталиста Томаса Грэя.

Элегия Жуковского открывается описанием наступающего вечера, когда предметы тают в сумраке, когда отлетают суетные заботы дня. В вечерней тишине обостряются чувства, пробуждается внутреннее зрение, душа откликается на вечные вопросы. На сельском кладбище, вдали «от мирских погибельных смятений», встаёт вопрос о смысле жизни и смерти. Смерть у Жуковского – это великий уравнитель:

На всех ярится смерть – царя, любимца славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдёт;
Всемощны судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко гробу нас ведёт!

Но смерть ещё и великий учитель. Она показывает тщету мирских благ, богатства и славы, она зовёт человека к скромности и простоте: не раболепствуй, не пресмыкайся, не потакай своей гордыне, не будь жестоким к страдальцам, цени в жизни не славу, не наслаждения, а добросердечие и смиренный труд. На сельском кладбище поэт осознаёт, что ближе к Богу простые труженики, хранящие в своей душе «глас совести и чести»:

Как часто их серпы златую ниву жали
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали
И потом их лица кропилася земля!

Вдохновляясь нравственной красотой и праведной жизнью поселян, поэт обличает сильных мира сего:

А вы, наперсники фортуны ослепленны,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что гробы их непышны и забвенны,
Что лесь им алтарей не мыслит воздвигать.
Вотще над мёртвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся, надгробия блестят,
Вотще глас почестей гремит перед гробами —
Угасший пепел наш они не воспалят.

Затем и сам поэт видит себя усопшим и приглашает посетить свою могилу:

Здесь пепел юноши безвременно сокрыли,
Что слава, счастье, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным Творец награду положил.
Дарил несчастных он – чем только мог – слезою;
В награду от Творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашёл приют от всех земных тревог;
Здесь всё оставил он, что в нём греховно было,
С надеждою, что жив его Спаситель-Бог.

Обострённое чувство поэта прорывается за грани земного бытия и подсказывает ему, что в земной юдоли есть такие ценности, которые не подлежат уничтожению и гибели, которые увековечит за гробом бессмертная человеческая душа.

Элегия «Сельское кладбище» ещё очень органично и глубоко связана с сентиментализмом Карамзина. Однако в ней уже появляются признаки нового направления – романтизма. Если в поэзии сентименталистов на первом плане был культ чувствительного сердца, то у Жуковского психологический анализ связан с решением глубоких мировоззренческих проблем. Душевное здесь перерастает в духовное, подчиняется ему и контролируется им.

Элегия стала одним из ведущих жанров в поэтическом творчестве Жуковского. Интерес к ней побуждался стремлением романтиков сосредоточиться на внутреннем мире личности. При этом жанр элегии у них существенно изменился по сравнению с классицистами. В элегии XVIII века тоже преобладало грустное содержание: поэты сокрушались по поводу смерти друга или измены возлюбленной. Но все эти несчастья воспринимались ими как единичные факты, нисколько не подрывавшие просветительской веры в добрую природу человека и разумную, гармоническую организацию мира. Тоскуя по возлюбленной, классицист Сумароков, например, рассуждал так:

Но тщетен весь мой гнев. Кого я ненавижу?
Она невинна в том, что я её не вижу.
Сержусь, что нет в глазах: но кто виновен тем?
Причина днесь случай в несчастьи моем.

Его несчастье отнюдь не свидетельствует о том, что мир трагичен в своих основах и что всем людям суждено страдать и бедствовать. Такая грустная случайность выпала лишь на его долю: «Такой мне век судьбою учредился».

Грусть поэта-романтика более глубока. Она касается самих основ мироустройства, в ударах судьбы романтик видит не случайность, а проявление самой сущности жизни: неверность земного величия и счастья, скоротечность бытия, несовершенство человеческой природы, помрачённой первородным повреждением. В элегической поэзии Жуковского содержатся в заре те проблемы, над которыми будут биться герои Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Некрасова, Тургенева и Чехова, Толстого и Достоевского. Неслучайно Белинский видел в элегиях Жуковского «целый период нравственного развития нашего общества. Их можно находить односторонними, но в этой-то односторонности и заключается необходимость, оправдание и достоинство их».

На исходе XIX века русский поэт и философ В. С. Соловьев посвятил Жуковскому стихи под названием «Родина русской поэзии. По поводу элегии “Сельское кладбище”». Он заметил, что в этой элегии наша литература вышла в свет не на гранитных набережных Петербурга, не на Красной площади в Москве, —

А там, среди берёз и сосен неизменных,
Что в сумраке земном на небеса глядят,
Где праотцы села в гробах уединенных,
Крестами венчаны, сном утомлённым спят, —

Там на закате дня, осеннею порою,
Она, волшебница, явилась на свет,
И принял лес её опавшею листвою,
И тихо шелестел печальный свой привет.

И песни строгие к укромной колыбели
Неслись из-за моря, с туманных островов,
Но, прилетевши к ней, они так нежно пели
Над вещей тишиной родительских гробов.

На сельском кладбище явилась ты недаром,
О, гений сладостный земли моей родной!
Хоть радугой мечты, хоть юной страсти жаром
Пленяла после ты, – но первым лучшим даром
Останется та грусть, что на кладбище старом
Тебе навеял Бог осеннею порой.

Окончательное торжество романтизма проявляется у Жуковского в элегии «Вечер» (1806), две строфы из которой были положены на музыку П. И. Чайковским и вошли в его оперу «Пиковая дама»:

Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.
Всё тихо: рои спят; в окрестности покой;
Простёршись на траве под ивой наклонённой,
Внимаю, как журчит, сливаясь с рекой,
Поток, кустами осенённый.
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у берега струй плесканье!
Как тихо веяние зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!

Жуковский отказывается в поэзии от точного называния понятий, сознательно разрушает рационалистический подход к поэтическому слову, свойственный классицизму. Слово у Жуковского не используется как общезначимый термин, а звучит как музыка, улавливающая в природе какую-то незримую жизнь, таинственные излучения, посылаемые чуткой душе. Жуковский склонен думать, что за видимыми вещами и явлениями окружающего нас природного мира скрывается образ Творца. Видимый образ природы в его восприятии – это икона, символ невидимых божественных энергий. По наблюдению Г. А. Гуковского, его стихи напоминают «музыкальный словесный поток, качающийся на волнах звуков и эмоций». И в этом музыкальном потоке, едином и слитном, слова звучат, как ноты, не только прямыми, но и ассоциативными, «музыкальными» смыслами.

Это достигается у Жуковского с помощью активного «поэтического синтаксиса». В поэзии взаимодействуют между собою два вида членения речи и два типа соотношений смыслов и слов. Первый вид – естественное синтаксическое деление и объединение словесных и смысловых групп. Второй вид – метрико-ритмическое их деление и объединение. «Синтаксис стиха» (второй вид) находится в постоянном взаимодействии с синтаксисом языка (первый вид). У Жуковского в элегии «Вечер» синтаксис стиха настолько активен, что подчиняет себе синтаксис языка. В результате слово вступает в неожиданные ассоциативные связи и «сцепления» с другими словами: «Уж вечер облаков...». Слово «облаков», синтаксически связанное со словом «края», поэтически объединяется со словом «вечер». Создаётся впечатление, что смыслы рождаются не в словах, а как бы между словами. В словах начинают пробуждаться не постоянные, а побочные, дополнительные значения: определение «померкнули» относится и к «краям облаков», и к «вечеру облаков», края которых «меркнут». Стиховые связи рождаются поверх связей синтаксических. И слова начинают сопрягаться друг с другом не только через логику их основных значений, а ещё и через смысловые ореолы, через неожиданные ассоциации.

Это открытие Жуковского оказало огромное влияние на семантическое обогащение слов в русской поэзии. Лейтмотивные слова первой строфы элегии «Вечер»: «померкнули», «последний», «умирает», «последняя», «потухшим», «угасает»... Нагнетание эмоциональных повторений, нанизывание однотонных слов, выдвижение на первый план качественных признаков за счёт предметных приводит к тому, что эти качественные слова стремятся увлечь за собою предметы, к которым они относятся, освобождая их от «материальности», от вещественной приземлённости. «Облака», «лучи», «водные струи» одухотворяются, «дематериализуются», сливаются друг с другом, становятся прозрачными, открывающими за прямым смыслом целый мир дополнительных, побочных значений и звучаний.

Вторая строфа состоит из четырёх стихов-возгласов, между которыми нет логической связи. Но связь эмоциональная есть: она достигается за счёт повторения однотипных формул: «как слит», «как сладко», «как тихо». Первый стих строфы – «как слит с прохладой растений фимиам» – осложнён для логического восприятия синтаксической инверсией (сказуемое «слит», стоящее на первом месте, отделено от подлежащего «фимиам» целым потоком второстепенных членов). Поэтический ритм фактически уничтожает синтаксическую связь: то ли фимиам слит с прохладой растений, то ли фимиам растений слит с прохладой. Слова, освобождённые от жёсткой синтаксической взаимозависимости, начинают вступать в причудливые ассоциативные связи и сцепления, в результате которых природа одухотворяется в своей нерасчленённой целостности. А во втором стихе эпитет «сладко», отнесённый к «плесканию струй», ещё более усиливает намеченный в элегии процесс одухотворения летнего вечера.

Этот поэтический приём распространяется у Жуковского на всю элегическую и пейзажную лирику. Поэтическое слово становится ёмким и многозначным, богатым смысловыми ореолами. В стихотворении «Весеннее чувство»:

Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют
И, сияя, улетают
За далёкие леса, —

эпитет «сияя» приобретает двойной смысл: предметно-вещественный – облака, озарённые солнцем, и психологический – радость возносящегося, лёгкого, весеннего чувства.

В элегии «Невыразимое» (1819) Жуковский сетует на бедность человеческого языка:

Что видимо очам – сей пламень облаков,

По небу тихому летящих,
Сие дрожанье вод блестящих,
Сии картины берегов
В пожаре пышного заката —
Сии столь *яркие черты* —
Легко их ловит мысль крылата,
И есть *слова* для их *блестящей красоты*.
Но то, что слито с сей блестящей красотой —
Сие столь смутное, волнующее нас,
Сей внемлемый одной душою
Обворожающего глас,
Сие к далёкому стремленье,
Сей миновавшего привет
(Как прилетевшее незапно дуновенье
От луга родины, где был когда-то цвет,
Святая молодость, где жило упованье),
Сие шепнувшее душе воспоминанье
О милом радостном и скорбном старины,
Сия сходящая святыня с вышины,
Сие присутствие Создателя в созданье —
Какой для них язык?.. Горе душа летит,
Всё необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит.

В этих стихах, глубоко философичных по своей природе, уже предчувствуется Тютчев с его знаменитым стихотворением «*Silentium!*» («Молчание!» – *лат.*), Фет с его крылатым выражением: «Что не выскажешь словами, / Звуком на душу навей». Примечательно в «Невыразимом» сближение чистых, как райский сад, воспоминаний прошлого со святыней, сходящей с вышины, – обетованной райской жизнью, даруемой праведным душам за пределами земного круга.

У Жуковского в элегиях есть целая философия воспоминаний. Он убеждён, что всё чистое и светлое, что дано пережить человеку на этой земле, является подготовкой к будущей, вечной жизни. В элегической «Песне» (1818), которая предвосхищает пушкинское «Я помню чудное мгновенье...», Жуковский писал:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?
Шепнул душе привет бывалой;
Душе блеснул знакомый взор;
И зримо ей минуту стало
Незримое с давнишних пор.
О милый гость, святое *Прежде*,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: *живи* надежде?
Скажу ль тому, что было: *будь*?
Могу ль узреть во блеске новом
Мечты увядшей красоту?

Могу ль опять одеть покровом
Знакомой жизни наготу?

Воспоминания Жуковский называл «двойниками нашей совести»: благодаря им не рывается в этой жизни живая цепочка добра, невидимые звенья которой уходят в вечность, в тот идеальный мир, вера в который поддерживала Жуковского во всех жизненных испытаниях.

Жуковский не уставал повторять, что истинная родина души не здесь, а там, за гробом, что в земной жизни человек – странник и залётный гость. Земные испытания приносят ему немало бед и страданий, но счастье и не может быть уделом, целью жизни человека на земле:

Ты улетел, небесный посетитель;
Ты погостил недолго на земли;
Мечталось нам, что *здесь* твоя обитель;
Навек *своим* тебя мы нарекли...
Пришла Судьба, свирепый истребитель,
И вдруг следов твоих уж не нашли:
Прекрасное погубило в пышном цвете...
Таков удел прекрасного на свете! —

так говорит поэт в элегии «На кончину её величества королевы Виртембергской» (1819). Мысль о непрочности и хрупкости земного бытия, о неверности земного счастья, о неизбежности трагических испытаний вносит в элегии Жуковского устойчивый, повторяющийся мотив грусти и печали. Но это не «мировая скорбь» Байрона с нотами отчаяния, неверия, дерзкого вызова Творцу. Печаль в элегиях Жуковского – грусть с оттенком светлой радости, сладкого упования. Поэт называет такую печаль «меланхолической», а само чувство – *меланхолией*. Оптимизм его грусти основан на христианской вере. В страдании он видит великую школу жизни и не устаёт повторять, что «несчастье – великий наш учитель», а главная наука жизни – «смирение и покорность воле Провидения».

«Теон и Эсхин» (1814)

«На это стихотворение, – писал Белинский, – можно смотреть как на программу всей поэзии Жуковского, как на изложение основных принципов её содержания».

В стихотворении сопоставляются разные жизненные судьбы двух друзей – Теона и Эсхина, а действие происходит в Древней Греции в эпоху зарождения христианства. Эсхин возвращается к своим пенатам, под родимый кров, после долгих жизненных странствий в погоне за земными благами. Всё изведаль он: и роскошь, и славу, и вино, и любовные утехы. Но счастье так и не далось ему в руки – как дым, как тень от него улетало. Цвет жизни был сорван, но при этом «увяла душа» и «скука сменила надежду».

Друг Эсхина, Теон, с юности был скромнее в своих желаниях. Он остался дома, и вот теперь Эсхин навещает его. С безоблачных небес светит солнце, сверкает море в его лучах, сыплется розовый блеск на хижину Теона. Неподалеку от неё блестит мраморная гробница, а сам Теон сидит на пороге дома, погружённый в меланхолические думы.

Эсхин разворачивает перед Теоном историю своей жизни, которая привела его к выводу, что «надежда – лукавый предатель». Замечая грусть на лице Теона, Эсхин спрашивает: «Ужель и тебя посетила печаль при мирных домашних пенатах?»

Вздыхая, Теон указывает на гробницу и говорит, что «боги для счастья послали нам жизнь, но с нею печаль неразлучна». Он не ропщет на Бога, но блаженство надо искать не там, где искал его Эсхин: земные блага, земные радости преходящи и тленны, они всякий раз изменяют человеку:

Что может разрушить в минуту судьба,
Эсхин, то на свете не наше;
Но сердца нетленные блага: любовь
И сладость возвышенных мыслей —
Вот счастье; о друг мой, оно не мечта.
Эсхин, я любил и был счастлив;
Любовью моя осветилась душа,
И жизнь в красоте мне предстала.

И даже теперь, когда любимая умерла, чувство хранится в памяти сердца: «Страданье в разлуке есть та же любовь; над сердцем утрата бессильна». Поэтому и скорбь о погибшем для Теона – «обет неизменной надежды, что где-то в знакомой, но тайной стране погибшее нам возвратится».

Всё земное и плотское гниёт и превращается в прах. Но всё, что возвышает нас над бездуховной тварью, что делает нас *людьми*, по замыслу Творца о человеке, никогда не умрёт и пребудет с нами вечно – и здесь, и там, за гробом:

С сей сладкой надеждой я выше судьбы,
И жизнь мне земная священна;
При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою.

Любовь в жизни и поэзии Жуковского

В 1805 году случилось событие, которому было суждено сыграть важную роль в жизни Жуковского и по-своему отразиться на судьбах всей отечественной литературы, на русском понимании духовной природы любви. У старшей сестры Жуковского по отцу, Екатерины Афанасьевны Протасовой, жившей в Белёве, в трёх верстах от Мишенского, подрастали две дочери – Маша и Александра. «Были они разные, и по внешности, и по характерам, – писал в биографии Жуковского Б. К. Зайцев. – Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздёрнутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния – нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего: бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Эта – жизнь, резвость, лёгкий полёт, гений движения. Собою красивее, веселее и открытей сестры, шаловливей»⁷. Пришло время учить девочек, а средства скромны. Жуковский согласился быть их домашним учителем.

Так начался платонический роман Жуковского и Маши Протасовой, который продолжался до преждевременной смерти его избранницы в 1823 году. Екатерина Афанасьевна, мать Маши, узнав о её чувствах к Жуковскому, заявила сурово и решительно, что брак невозможен. Ни уговоры, ни подключения к ним друзей, ни сочувственное вмешательство высоких духовных лиц не могли поколебать её решения. Всякие надежды на земной брак для скрепления «брака духовного» были у Жуковского и Маши потеряны навсегда.

История этой одухотворённой любви нашла отражение в цикле любовных песен и романсов Жуковского. По ним можно проследить перипетии этого чувства, глубокого и чистого во всех его состояниях. В «Песне» 1808 года оно светлое, радостное, исполненное надежд:

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой;
Но где для страсти выраженья?
Во всех природы красотах
Твой образ милый я встречаю;
Прелестных вижу – в их чертах
Одну тебя воображаю.

В этой любви, бесплотной и трепетной, совершенно приглушена всякая чувственность. На первом плане здесь сродство любящих душ, своеобразная любовная дружба, в которой чувство бескорыстно и возвышенно.

В следующей «Песне» 1811 года, после отказа Екатерины Афанасьевны, тональность стихов склоняется в сторону *меланхолии*. Поэт жертвенно устраняется, желая любимой счастья, и просит лишь о том, чтобы она не забывала его. Горечь разлуки смягчается верой в бессмертие: невозможная, разбитая здесь, на земле, чистая любовь не умрёт и воскреснет за гробом:

О милый друг, пусть будет прах холодный
То сердце, где любовь к тебе жила:
Есть лучший мир; там мы любить свободны;
Туда моя душа уж всё перенесла;

⁷ См.: Зайцев Б. К. Жуковский // Зайцев Б. К. Соч.: в 3 т. – Т. 3. М., 1993. – С. 164–340.

Туда всечасное влечёт меня желанье;
Там свидимся опять; там наше воздаянье;
Сей верой сладкою полна в разлуке будь —
Меня, мой друг, не позабудь.

В 1817 году Маша, с благословения Жуковского, выходит замуж за доктора медицины И. Ф. Мойера, человека благодушного и сентиментального на немецкий манер. Мойер с пониманием относится к платонической любви Маши и Жуковского. Но из глубины души потерявшего всякие надежды поэта поднимается «Песня» (1818) – «Минувших дней очарованье...» – с недвусмысленным её концом:

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет;
Там есть *один* жилец безгласный,
Свидетель милой старины;
Там вместе с ним все дни прекрасны
В единый гроб положены.

Отголоски этого печального романа звучат во многих произведениях Жуковского: в стихотворении «Пловец» (1812), в «Песне» (1816), в «Воспоминании» (1816), в балладах «Рыцарь Тогенбург» (1818), «Эолова арфа» (1814), «Эльвина и Эдвин» (1814).

Жуковский гражданин и патриот

В начале лета 1812 года войска Наполеона перешли через Неман и вторглись в русские пределы. 12 августа Жуковский покинул родной край поручиком Московского ополчения. Ночь на 26 августа он провёл в засаде на окраине Бородинского поля, в резерве армии Кутузова. Участвовать в самом сражении ему не пришлось: резерв в бой не вводили, но обстрелу он подвергался, были потери.

Доселе тихим лишь полям
Моя играла лира...
Вдруг жребий выпал: к знаменам!
Прости, и сладость мира,
И отчий край, и круг друзей,
И труд уединенный,
И всё... я там, где стук мечей,
Где ужасы военны.

В штабе Кутузова под Тарутином Жуковский пишет большое патриотическое стихотворение «Певец во стане русских воинов», распространившееся в списках и получившее популярность в армии ещё до его публикации. По словам одного из современников, «Певец...» Жуковского «сделал эпоху в русской словесности и в сердцах воинов».

П. А. Плетнев писал: «Впечатление, произведённое им не только на войско, но на всю Россию, неизобразимо. Это был воинственный восторг, обнявший сердца всех. Каждый стих повторяем был как заветное слово. Подвиги, изображённые в стихотворении, имена, внесённые в эту летопись бессмертных, сияли чудным светом. Поэт умел избрать лучший момент из славных дел всякого героя и выразить его лучшим словом: нельзя забыть ни того, ни другого. Эпоха была беспримерная – и певец явился, достойный её».

Секрет успеха нового произведения Жуковского объясняется не только актуальностью патриотической темы, но и тем, что он раскрыл её с неожиданной и проникновенной для русских людей стороны:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки.
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

В понятие Отчизны включаются у Жуковского отцы и матери, отчий дом, жёны и невесты, друзья, природа России. Само патриотическое чувство у него безмерно расширяется и углубляется за счёт сопряжений интимного и общего, частного и исторического.

Там всё – там родших милый дом;
Там наши жёны, чада;
О нас их слёзы пред Творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы – прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.
За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

В «Певце...» Жуковский широко использует традиции русского классицизма с его высокой гражданственностью и одическим пафосом, с использованием церковнославянской лексики («там *днесь* и за могилой», «*горе подъял ужасну брань*»). Отзвуки классицизма есть и в батальной живописи «Певца...» с её «*стрелами*», «*щитами*», «*перунами*», с изображением современных генералов в тогах греческих и римских героев.

Однако одический стиль у Жуковского теряет свойственный классицизму холодноватый рационализм, приобретает эмоциональное, личностное звучание, потому что Жуковский искусно сплавляет его со стилем элегическим. В свою очередь, и темы интимные, частные, связанные с поэзией дружбы, любви, семейного очага, братаясь с «высоким штилем», свободно и легко поднимаются в ранг патриотический.

Ах! мысль о той, кто всё для нас,
Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
Зрим образ незабвенный!
Она на бранных знаменах,
Она в пыли сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Весёлых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нём горит:
Твоя и за могилой!

Патриотизм в «Певце...» Жуковского становится личной и гражданской темой одновременно. В этом и заключается секрет необыкновенной популярности произведения, открывавшего новый период в развитии русской гражданской лирики, несущего открытие, которым воспользуются Пушкин в своей вольнолюбивой лирике, Некрасов и поэты его школы в 60–70-х годах XIX века. Вообще единство гражданской и личной тематики превратится в характерную особенность русской поэзии XIX–XX веков.

Вслед за «Певцом...», после сражения под Красным, Жуковский пишет послание «Вождю победителей», в котором славит Кутузова, сломившего гордыню тщеславного Наполеона. Послание, написанное по горячим следам битвы, печатается впервые в походной типографии при штабе Кутузова. Вскоре, в конце декабря, Жуковский тяжело заболевает горячкой и после лечения в госпитале в январе 1813 года покидает действующую армию.

Слава «Певца...», не без участия друзей, докатилась до Зимнего дворца. Давний покровитель Жуковского поэт-карамзинист И. И. Дмитриев поднёс его стихи вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. С 1815 года Жуковский приглашается на должность её чтеца.

Не слишком ещё обременённый придворной службой, он становится в эти годы членом литературного общества «Арзамас», где пишет шуточные и сатирические стихи, обличающие «пишкочивостов».

Балладное творчество Жуковского

С 1808 по 1833 год Жуковский создает 39 баллад и получает в литературных кругах шутовское прозвище «балладник». В основном это переводы немецких и английских поэтов (Бюргера, Шиллера, Гёте, Уланда, Соути, Вальтера Скотта и др.) со всеми особенностями Жуковского-переводчика, о которых мы уже говорили.

По своему происхождению баллада восходит к устному народному творчеству. И обращение к ней писателей сентименталистов и романтиков связано с пробудившимся у них интересом к национальному характеру, к «местному колориту». А обилие в балладах народных легенд, поверий, фантастических и чудесных происшествий отвечало пристрастию романтиков ко всему иррациональному, неподвластному рассудку и логике.

Наконец, в балладах отражалось миросозерцание человека средних веков – христианина, озабоченного религиозными проблемами, ощущающего за видимыми предметами и явлениями, характерами и событиями окружающего мира проявление действующих в нём невидимых сил, стоящих над природой и человеком. Это силы добрые и злые, божеские и сатанинские, незримо участвующие в судьбах людей. Такой взгляд на жизнь соответствовал романтическому мироощущению, разрывавшему связь с просветительским рационализмом.

Перед Жуковским стояли задачи перевода-переложения балладного мира западноевропейских писателей на русские нравы, разработки русского литературного языка, развития в нём смысловой музыкальности, способности передавать тончайшие явления природного мира и ощущения верующей, иррационально настроенной души человека. Через приобщение к опыту зрелых литератур Западной Европы Жуковский добился на этом пути значительных успехов. Вот как, например, во второй части баллады «Двенадцать спящих дев» изображает Жуковский воздействие благодатных сил, направляющих душу главного героя на стезю добродетели:

И всё... но вдруг смутился он,
И в радостном волненье
Затрепетал... знакомый звон
Раздался в отдаленье.
И долго жалобно звенел
Он в бездне поднебесной;
И кто-то, чудилось, летел,
Незримый, но известный;
И взор, исполненный тоской,
Мелькал сквозь покрывало;
И под воздушной пеленой
Печальное вздыхало...
Но вдруг сильней потрясся лес,
И небо зашумело...
Вадим взглянул – призрак исчез;
А в вышине... звенело.

А в чудесной балладе «Эолова Арфа» влюбленная Минвана, томимая недобрыми предчувствиями, вдруг слышит таинственный знак, передающий ей весть о смерти любимого человека, с которым её насильно разлучили:

Сидела уныло
Минвана у древа... душой вдалеке...

И тихо всё было...
Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке;
И что-то шатнуло
Без ветра листы;
И что-то прильнуло
К струнам, невидимо слетев с высоты...
И вдруг... из молчанья
Поднялся протяжно задумчивый звон;
И тише дыханья
Играющей в листьях прохлады был он.
В ней сердце смутилось:
То друга привет!
Свершилось! свершилось!..
Земля опустела, и милого нет.

Поражает многоголосие поэтических интонаций и стилистических мелодий в балладах Жуковского, не только обнимающих в сжатом виде всю пушкинскую эпоху в истории русской поэзии, но и выходящих за её пределы во времена 1850–60-х годов, в эпоху Фета и Некрасова:

Были и лето, и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод; народ умирал.

На такой «некрасовской» ноте звучит зачин в балладе Жуковского «Суд Божий над епископом» (1831).

Через все баллады Жуковского проходит поединок добра со злом, в котором всегда побеждает добро, а зло наказывается. Жуковский убеждён, что таков закон миропорядка, нравственный закон, источник которого находится не в руках слабого человека, а в деснице всемогущего Творца.

Уже в первой балладе «Людмила», созданной по мотивам «Леноры» Бюргера, Жуковский говорит о необходимости обуздания эгоистических желаний и страстей. Несчастливая Людмила гибнет потому, что слишком неумеренно и безоглядно желает быть счастливой. Любовная страсть настолько её ослепляет, что она бросает вызов Богу, сомневается в милосердии Творца, упрекает его в жестокости.

Между тем целью жизни, по убеждению христианина Жуковского, не может быть стремление к счастью. «В жизни много прекрасного, кроме счастья», – говорил он. Всякое односторонне-страстное, а значит, и эгоистическое желание губит человека. Возмездие является Людмиле в образе мёртвого жениха, увлекающего её в могилу.

Другой вариант той же самой судьбы, более близкий к национальным православно-христианским устоям жизни, даётся Жуковским в балладе «Светлана» (1812). Чтобы подчеркнуть русский характер Светланы, поэт окружает её образ народным колоритом. Действие баллады совершается в крещенский вечер, в поэтическое время святок – игр, гаданий русской деревенской молодежи.

Но национальная тема описанием святочных гаданий далеко не исчерпывается. Жуковский открывает русское православное начало в душе Светланы, которая не склонна обвинять Творца в случившемся с нею несчастье. И потому даже в страшном сне её, в чём-то повторяющем реальный сюжет «Людмилы», есть глубокое отличие. Жених везёт Светлану не на клад-

бище, а в Божий храм, и в страшную минуту, когда поднимается из гроба мертвец, голубок, символ не покидающего Светлану благодатного духа, защищает её от гибели.

Оптимистичен финал баллады: вместе с пробуждением Светланы от страшного, искусительного сна пробуждается к свету и солнцу сама зимняя природа. Затихают вихри и метели. Ласковое солнце серебрит снежные скатерти лугов и зимнюю дорогу, по которой скачет навстречу Светлане её живой жених. Верный своим этическим принципам, поэт предупреждает юную, милую и живую Светлану:

Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в Провиденье.
Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье – лживый сон;
Счастье – пробужденье».

Образ Светланы Жуковского не однажды отзовется в поэзии и прозе русских писателей XIX века. Но главная заслуга поэта заключается в том, что к его Светлане восходит образ «русской душой» Татьяны в романе Пушкина «Евгений Онегин».

Глубокая дружба связывала Жуковского с его учеником, быстро переросшим своего учителя. Нежную заботу проявлял он о Пушкине на протяжении всей короткой жизни поэта: убеждённый от Соловков, помог освободиться от Михайловской ссылки, стремился предотвратить роковую дуэль, но безуспешно... Жуковский закрыл глаза усопшему Пушкину и оставил драгоценное описание его кончины и в стихах, и в прозе:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря с вниманьем
Мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нём, – в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нём; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

Воспитатель наследника

С 1817 года начался крутой поворот в жизни Жуковского, заставивший его на долгое время отложить занятие поэтическим творчеством во имя другой, не менее, а, может быть, даже более значимой в его глазах исторической миссии. В 1817 году он становится учителем русского языка великой княгини (впоследствии императрицы) Александры Федоровны. А в 1826 году ему предлагают должность наставника-воспитателя великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.